

Михаил Турбин

# **ОКРУГА**

РАССКАЗЫ

УДК 821.161.1

ББК 84(2р)6

Т 86

*Издание осуществлено при финансовой поддержке  
Правительства Орловской области и Орловского областного  
Совета народных депутатов*

*Редактор А.В. Фролов*

**Т 86 Михаил Турбин**

**Округа.** Рассказы. — Орёл: Орловский Дом литераторов,  
2021. — 196 с.

«Округа» — далеко не первая книга Михаила Турбина. Автор по своим поэтическим сборникам давно знаком читателями Орловщины и любим ими. В новой книге Михаил Турбин каждой строкой остаётся верен своим идеалам, своей чёткой гражданской позиции, которая зиждется на любви к простому народу и Отечеству. Каждый рассказ в книге — история, выкристаллизованная из жизни, со всеми её личными и в масштабе целого государства взлётами и падениями. История нашего общества в рассказах Турбина представлена правдиво, мастерски и, что особенно важно, нравственно.

УДК 821.161.1

ББК 84(2р)6

© М.Л. Турбин, 2021

© БУКОО «Орловский Дом литераторов»

## СВЕТЛЫЙ ПОСАД, ИЛИ ТАЕЖНЫЕ СУМЕРКИ

Когда жена Зинаида поздно возвращалась домой с фермы, муж её, Керберов Кузьма Петрович, бросал на неё недобрый взгляд, потом суетился, пытался куда-нибудь уйти — одевался, раздевался и затихал, уходил в себя, пытаясь заснуть на своей запечной кровати. Он давно заметил, что жена потеряла к нему всяческий интерес. Нет, внешне всё выглядело как обычно: она готовила еду, расспрашивала о чём-нибудь, советовалась, но он чувствовал, понимал, что прежней теплоты уже нет. С каждым днём у него становилось всё меньше уверенности в себе, он стал относиться с подозрением ко всем мужикам, работающим на ферме, где, так или иначе, они общались с его женой. У него не выходило из головы, что кто-то стал поперёк его жизни.

Когда совсем изнемогал от ревности, то брал ружьё и уходил на охоту. Возвращался усталый, ревность отступала, садился за стол, выпивал стакан самогонки, закусывал и отходил ко сну. Ему

часто снилась та неудачная осенняя охота. С неё всё и пошло.

Стоял ноябрь, по Енисею плыла шуга, наступал конец навигации. Они тогда — трое охотников с ружьями и провизией — плыли в алюминиевой лодке с двумя моторами, поднимаясь вверх по течению. Внезапно один мотор заглох, пришлось запускать резервный. Кузьма Петрович предлагал приятелям вернуться, начали обсуждать это под запуск двигателя. Тут лось вышел к берегу, его не пугал шум мотора — угрозы с реки он не ожидал. Сразу грохнуло два выстрела. Лось подкосил передние ноги, затем — задние. Рухнул и затих. Повезло — сохатого сразу убить трудно, можно сказать, он сам подставился в неожиданном месте. Браконьерством Кузьма Петрович не увлекался, ему хватало заработка тракториста, но наступали перестроечные времена, хотелось запастись на зиму мясом, и охотничий разум поддался чувству. К тому же был вечер, вокруг ни единой души.

Они быстро разделали тушу на части, лучшие куски погрузили в лодку, а остальное просолили и захоронили, чтобы позднее забрать. Перегруженная лодка, черпая воду, отошла от берега. Запозднились, а тут ещё поднялся ветер, метровые волны готовы были перевернуть посудину. Выручал мотор, державший лодку строго носом к волне, как вдруг он чихнул раз-другой и замолк.

Кузьма Петрович какое-то время пытался его запустить, но не прошло и минуты, как лодку развернуло боком к волне, и она перевернулась. За высокой волной и сумерками он не увидел приятелей. Первоначально решил плыть к берегу, но потом повернул к лодке, понимая, что до берега не доплыть, ватные штаны и телогрейка намокли, сапоги тянули вниз. Ему удалось освободиться от них с третьего или четвертого раза. Подплыл к лодке и стал за неё держаться. Вскоре к нему присоединился один из его товарищей, стуча зубами от холода, и тоже ухватился за верёвку, что шла вдоль борта. Лодка, хотя и алюминиевая, не затонула — стояла вертикально — в носовой части находился пенопласт. Третьего приятеля нигде не было.

— Сколько продержимся, Петрович? — спросил товарищ по несчастью.

— Десяток минут, однако, выдержим, а потом хана! — только и мог ответить.

Надежды на спасение с реки не было, движение по ней прекратилось — ни одного огонька. И с берега ждать нечего — тайга. Оставалось надеяться на чудо, и оно пришло. Прямо на них вышел катер, забравший последним рейсом двух геологов. Вытащили, и третьего охотника подобрали, он еле держался на воде; когда к нему подошёл катер, то даже не смог взяться за выставленный

багор, пришлось зацепить его за фуфайку и подтащить к борту. Спасённых горе-охотников поместили в рубку, раздели, растёрли жиром, одели в сухое, напоили горячим чаем. Один из геологов всё сокрушался, что не было водки или спирта.

Их доставили в первый же на пути посёлок. Кузьма Петрович помнит, как каждая клеточка его организма не могла согреться в поселковой бане, куда их сразу поместили. В бане они и уснули. Обошлось, если не считать потерь: ружей, одежды, обуви, мяса... Всё забрал Енисей.

Купание в реке не прошло даром, он заболел. Не помогли ни водка, ни баня, ни травы; стал таять на глазах, как утренняя сосулька на весеннем солнце. Работа на тракторе-тягаче не ладилась — быстро уставал, потом долго отлёживался в постели, не раздеваясь. Всё чаще и чаще его сотрясал кашель с кровавой мокротой. Пытался лечиться. Лечение здоровья не прибавило. Забросил хождение по поликлиникам и больницам, пришёл к выводу, что жизнь подходит к концу, и махнул на всё рукой. Жена с утра уходила на ферму, а когда возвращалась поздно, он только скрипел зубами, уходя за печь в свою половину. Она была моложе его на десять лет. Пить стал реже, но если напивался, запой длился долго, и выходил из него с огромным трудом. В любой момент мог лишиться работы

в леспромхозе, но там понимали: ему до пенсии — рукой подать: полтора года. Кузьма Петрович ни с кем не делился тем, что творилось у него в душе. Дети выросли, покинули родительский дом.

Дочь Антонина обосновалась в Мурманске, где вышла замуж. С зятем он познакомился на свадьбе, когда приезжал с женой туда. С тех пор его видеть больше не хотел, тот где-то числился снабженцем, а Кузьма Петрович их считал дармоедами.

— С ним Тонька намается! — сказал он Зинаиде при возвращении домой. — Это же бич, ни на что не способный...

— Что за бич? — удивилась жена. — Вроде кнута или плётки, что ли?

— Это означает: «бывший интеллигентный человек» — так мне сказали его соседи, я хорошо запомнил. Короче, бездельник наш зятёк. Что она в нём нашла? Появятся дети, притащит их сюда, а ты корми их, выхаживай...

Зинаида промолчала, ей нравилось, как зять на свадьбе душевно пел под гитару. Она много о нём мнения, но спорить с мужем не стала.

Сын их Антон хлопот не обещал — сразу после армии поступил в воронежский университет. Студентом подрабатывал, помощи у родителей не просил. Окончив вуз, работал в Воронеже, потом переехал в Орёл, стал трудиться журналистом. Родителям не забывал писать. О болезни отца ему

решили не говорить. Оба понимали: сын сразу же примчится, и уже не утаишь от него семейного разлада или окрестной молвы. Лучше пусть будет в неведении, а там, что бог даст. И день шёл за днём, месяц за месяцем, год собирался идти за годом, но не пошёл. Видимо, ревнивость не улеглась, иначе бы Кузьма Петрович равнодушно отнёсся к сообщению соседки. Она только что случайно видела Зинаиду с конюхом у скирда сена за селом.

— Дюже миловались, срамники, — пояснила она.

Услышав это, Кузьма криво усмехнулся и пошёл к себе. В избе взял двустовку, пристегнув к поясу патронташ, пошёл за околицу.

— Куда это ты, Кузьма Петрович, наострился, неужто на охоту? — дивились у магазина бабы.

— Точно, догадливые вы мои, туда!

И пошёл дальше.

Конюха он уложил сразу из одного ствола, когда тот выбежал из стога на шорох его шагов, и жену — из другого, когда она предстала перед его взором полуодетая с диким ужасом в глазах, не успев сказать ни слова. Он даже не оглянулся на содеянное, кинул ружьё за плечо и побрёл в сторону леса.

Он знал куда шёл — туда, в охотничью избушку, что полдня ходьбы от деревни. Избушка, не



избушка, так, пристанище на случай ночлега — место кратковременного пребывания. Это сооружение с крутой крышей стояло на пригорке, ниже протекал ручей. Место удобное, обозреваемое со всех сторон.

Несмотря на тяжкую хворобу, шёл легко, даже приподнято, казалось, в нём возродилась былая сила. К вечеру добрался до цели; быстро растопил железную печь, сходил за водой, нашёл пшено в жестяной коробке, соль, и привычно приготовил кашу. Наевшись, крепко подпёр дубовиной дверь, взял ружьё и полез на чердачок спать.

Это раньше, прежде чем уснуть, долго ворочался с бока на бок, передумав и переворотив прожитые годы, и только под утро забывался нервным сном. Здесь же заснул сразу, не успев толком угнездиться в прелой охапке сена. Спал как новорождённый, и ничего не снилось ему, за исключением предугтренней нелепой картины: поп Евлампий из соседнего села, присев на корточках, подзывал к себе огромного белого петуха: «Цып-цып-цып...», — тянул он, и неожиданно проворно прыгнул на потерявшую бдительность птицу. В ответ — кудахтанье, переполох на всю округу. И видит, хватает батюшка топор, отрубает петуху голову, и летит она в траву, фонтанируя кровью. Кузьма Петрович во сне даже подался в сторону, чтобы не об-

рызгаться, при этом стукнулся головой о стропилу и проснулся.

Было тихо и тревожно на душе, он выглянул в узкое чердачное оконце и увидел участкового милиционера — пучеглазого Льва Филонова, которого все уважительно звали по отчеству — Прохоровичем. Он приближался к охотничьей избушке. Керберов быстро взял ружьё, спустился и, отворив дверь, стал поджидать его. За полсотни шагов до двери, направил двустволку в сторону милиционера и прокричал:

— Стой, Прохрыч, и боле не подходи, убью! Короче, двигай к себе, не до тебя нынче.

— Ты что говоришь, Кузьма? — остановившись, спросил тот. — Зачем тебе моя смерть? Бога побойся, грех на душу возьмёшь... Давай лучше по-хорошему пойдём со мной, суд должен понять твоё душегубство на почве ревности. Ты же человек, а не какой-то умышленник, что из дури или озорства берётся за стволы...

— Повторяю, не подходи! Послабки ни от кого не жду, а в Бога ты знаешь, как верую... Вот и не будем трепать языками, уходи, говорю!

— Не могу, Петрович! Служба у меня такая, легавая, сполнять её надо по всей строгости, а будешь супротив, могу...

И тут вышло непоправимое, то ли рука Филонова стала шарить по кобуре, то ли сдвинулся

он с места. Уже не узнать, только грохнул выстрел, и участковый, как говорится, «упал, не копыхнувшись».

Такого от себя Кузьма не ожидал. Если минутой раньше была возможность что-то тронуть в его душе, то теперь дороги назад не было.

Он же собирался утром идти и идти, сколько сил хватит, вниз по ручью, добраться до реки — к тому месту, где чуть не утонул. Хотел, чтоб Енисей забрал его к себе навсегда, ведь из-за него семейная жизнь стала невыносимой, даже повергла в кровавую расправу...

— Лёвушка, тебя-то я за что-о-о? — завопил он хрипло. Это был его последний вопрос, после чего сунул в рот стволы и нажал на спусковой крючок. От звука выстрела, дремавшая на макушке сосны таёжная сова, тяжело сорвалась с ветки и слепо закружилась над ручьём. Кружилась и кружилась, всё никак не могла найти себе места для укромного сидения.

\* \* \*

Антон знал, что отец хворает после вынужденного купания в Енисее, но его просили не беспокоиться об этом, мол, всё со временем наладится, главное — береги себя, жену и дочку. К этому времени он работал корреспондентом одной местной газеты, успел жениться на скромной девушке Еле-

не, выпускнице городского музыкального училища. Молодой семье обещал купить квартиру тесть Антона — Корнил Маркович, приехавший из Запорожья по случаю рождения внучки, а пока помог приобрести недалеко от города скромную дачу. Квартиру они снимали. Личная жизнь начала складываться неплохо, несмотря на смутные времена в стране, но вскоре судьба показала ему и свой недобрый характер: из газеты, в которой он работал, его бесцеремонно выдал новы́й главный редактор, расчищавший почву для более свободолобивой поросли. Уволил, несмотря на его хорошую репутацию в журналистской среде. О причинах увольнения высказался так: «Антон Кузьмич, я не вижу перспективы для вашего роста из-за отсутствия у вас веры в общечеловеческие ценности. Вы находитесь в плену стереотипов, и не готовы к новому мышлению, в общем — не понимаете остроты ситуации в стране».

Антон, было, вспыхнул, хотел высказать всё, что думает о нём, но промолчал, вспомнив давние напутственные слова декана факультета: «Вашему поколению предстоит жить и работать в период смены эпох, мы вас недостаточно подготовили к этому. Вам будет очень трудно, мы сами теперь мало представляем, куда движемся. Учебные программы часто менялись, нередко они были противоречивыми. Не удивлюсь, если в ваших

головах сформировалось искажённое представление о мире. Это не ваша беда, а общая — беда неустойчивого времени. Не отчаивайтесь, идите вперёд, жизнь всё расставит по своим местам, и да здравствует свобода слова!»

Так и вышло, подумал Антон, декан понимал, в какое нищенское положение были поставлены не только студенты и преподаватели, а и страна в целом, но в свободу слова верил свято.

Что теперь делать, он не знал, часто голодал, сидел без денег, уныло наблюдая, как вокруг него ловкачи быстро богатели, ничем не брезгуя. У большинства россиян не хватало денег на еду. И тут он вспомнил, как однажды в столовой среди своих сотрудников, шутливо сказал: «Продуктов питания не хватает потому, что малый либеральный народ в России стал прожорлив — развил огромный аппетит!»

«Может, кто донёс?» — мелькнуло у него в голове. И успокоил себя: «Поздно гадать, несусь, как щепка в бурном потоке событий, но надо что-то делать...»

И года не прошло с того времени, как танки в Москве расстреляли Парламент. Он тогда в статье выразил своё отношение к этому событию так: «Не по Парламенту, а по сознанию россиян бьют танки — смотрите и запоминайте, как насилуют свободу». Порою тоскливые мысли одолевали его,

казалось, вот-вот выйдет из собственной сути и обретёт иную — не свою. Вздрагивал всем телом, как от удара током, потом брал себя в руки ради семьи, которой дорожил. Больше дорожить было нечем.

Елена с дочкой в начале лета решили поехать-погостить к родителям в Запорожье, и он, после некоторого колебания, решил пожить без них на даче, собраться с мыслями, чтобы каким-то образом перестроиться. С деньгами, что оставил себе на пропитание, не рассчитал — быстро кончились, начал голодать.

По соседству с ним до поздней осени на даче жила грузная Софья Яковлевна — мать криминального авторитета, но о его тёмных делах Антон ещё не знал, считал, что это просто Витёк-качок с тумбообразными ногами — ленивый сын его дачной соседки. Иногда «качок» прикатывал к матери на «Ауди» с запасом продуктов и с шумной компанией, и из их сада доносились застольные хмельные голоса, уверявшие друг друга, что в городе они — «первопроходцы бизнеса». Слушая их, Антон мысленно подправлял: «Первопроходимцы» — вот правильное слово!»

Чаще Витёк-качок приезжал один на выходные дни и уезжал в понедельник в город. Однажды Софья Яковлевна несколько дней не была на даче. За время её отсутствия отключили без пред-

упреждения электричество. Вернувшись на дачу, она сразу почуяла неприятный запах, кинулась к холодильнику и принялась извлекать из камеры мясoproдукты — смотреть, что уцелело, с чем придётся расстаться. Вспомнила, сын просил утку не трогать, мол, разделает её сам, видимо, задумал что-то отмечать со своей компанией. Положила она сынову утку на стол под яблоней, стала принохиваться, и тут какая-то птица с ветвей уронила на утиную тушку какашку. Софья Яковлевна подняла глаза и очень удивилась, увидев прямо над своей головой сову. Птица смотрела на неё вопросительно немигающими большими глазами, словно изучала её, ни разу не ворохнувшись. То, что совы спят с открытыми глазами, она забыла, увидев впервые её так близко.

Пока она с удивлением рассматривала сову, а потом отходила за ножом, в приоткрытую дачную калитку с улицы забежал огромный бездомный пёс. Понюхав воздух, он стремительно бросился к столу, схватил тушку утки и поволок её так быстро, что увидев его из дверного проёма, Софья Яковлевна оторопела, минуту-другую не знала что делать, а потом с криком «Ах ты, паразит проклятый!» побежала за ним, но тот уже скрылся из глаз. В этот момент Антон как раз проходил мимо неё с ведром колодезной воды. Остановился, и поинтересовался:

— Что случилась, Яковлевна?

— Что-что? Прямо со стола кобель мясо утащил — продуктовую утку! Развели, понимаешь, собак, пропади они пропадом! Где теперь искать?

И безнадежно махнула рукой. Потом спросила:

— У тебя, Антон Кузьмич, свет есть?

— Третий день отключён, на подстанции что-то сторело, электрик нужен. Говорят, в субботу должен явиться. У вас что, проблема с холодильником?

— У меня холодильник «Минск», камера прекрасная, но всё равно куры провоняли, придётся выбрасывать, а утка ото льда только-только отошла, я собиралась её обработать, а тут — хватъ!

— Сообразительный кобель! — усмехнулся Антон. — Видел-видел его, как чёрт промчался мимо меня, чуть с ног не сбил, в посадку, наверное, направился...

— Где ж его сыщешь? — вздохнула Софья Яковлевна. — Одно огорчает: сын хотел утку сам приготовить, строго-настрога велел не трогать, а вышло вон что...

Впрочем, недолго она печалилась, если надо, сын десять таких уток может привезти. Постояли они, поговорили и разошлись. Он — к себе с ведром воды, она — к столу под яблоней.

В мае у Антона на грядках кроме лука и щавеля ничего ещё не выросло, постоянно хотелось есть.



Выручала крупа. Мяса давно не видел — купить было не на что. Он и подумал: «Кусок утятины не помешал бы к обеду, если пёс его не сожрал». И криво усмехнулся: «Вот до чего довели русского человека творцы «нового мышления», однако, надо выстоять — выживать так выживать!..»

Он знал этого кобеля, тот зимой шастал по помойкам, а с весны облюбовал неподалёку заброшенный ветхий дачный домик, окружённый густой зарослью шиповника, малины и сухими метёлками канадского золотарника. Антон иногда забредал туда в поисках дров для «буржуйки». В эту часть дачного массива месяцами никто не заглядывал, кроме воров и бродячих собак.

Он перелил воду в бак и опять пошёл с ведром мимо домика соседки, вроде как за водой, потом свернул на тропинку, ведущую к той собачьей забегаловке. Шёл и с грустью смотрел на ряд заброшённых участков с полуразвалившимися невзрачными строениями. Совсем недавно здесь жили и трудились обычные горожане-дачники, вышедшие на заслуженный отдых. Одни состарились и ушли в мир иной, другие — теряя силы, передали свои владения детям, а те их запустили. У многих не было денег даже на садовые взносы. Долги накапливались, а участки продавать не продавали, на что-то надеясь. Годами на них не заглядыва-

ли даже бомжи — унесли всё, что можно унести и пропить.

Так он шёл минут десять, озирая одичавшую землю, время от времени глотая слюну, представляя вкус горячего куска утятинны.

Подходя к заброшенному участку, Антон Кузьмич вытащил из забора жердину, чтобы отобрать у пса воровщину, и смело ринулся в хибарку, но опоздал — на пыльном полу виднелись лишь собачьи следы. С уткой пёс быстро расправился — в домике валялись остатки гузки, лап, позвонка и лохмотья пупырчатой кожи.

— Чтоб тебя пронесло, обжора! — в сердцах воскликнул он, и вдруг заметил на полу среди утиных объедков свёрток, измазанный собачьей слюной и утиным салом — скруток пластиковой плёнки, стянутый резинкой в нескольких местах, кое-где поврежденный клыками. Любопытство пересилило брезгливость. Он содрал резинку и осторожно развернул плёнку. Под плёнкой блеснула укрывная фольга, он и её развернул и увидел монеты — столбики золотых царских червонцев...

Антон вдруг охватил панический ужас, казалось, чьи-то глаза сверлят ему затылок. Преодолевая страх, он повернул голову и вздрогнул, увидев на верхнем бруске дверной коробки приклеенный хозяином дачи фотоснимок крупной совы из ка-

кого-то старого журнала. Пузатые птичьи глаза внимательно смотрели на него.

— Сгинь! — невольно вскрикнул Антон. — Чего глаза таращишь? Мышей ловила бы.

И присел на край дивана, из которого выпирали ржавые пружины. Долго не мог успокоиться. Шёл-то за куском утятины, а тут — вон оно что! Первый порыв души был бесхитростный — вернуть свёрток Софье Яковлевне, ведь это её сынок заначку сунул в полость утки, но Антон сдержал благородный порыв. Вспомнил: бабы говорили, а ветер разносил, будто сынок её рэкетом занимается, то есть дань собирает с владельцев ларьков и магазинов. Возник вопрос: справедливо ли возвращать находку тому, кому она не принадлежит по сути? После раздумий сам себе и ответил: «Шиш тебе, Витёк, а не червонцы! И в милицию не заявлю, там меня, конечно, поблагодарят, но в душе назовут дураком. И правильно сделают, мы же перешли на «новое мышление». И он обрёл душевное спокойствие.

Вскоре Витёк-качок приехал на дачу. О пропаже утиной туши шума не поднимал, видимо, не сказал матери, чем она была начинена, но Антон видел, как он целую неделю рыскал с дружками по посадкам и заброшенным участкам, лихо переставляя ноги-тумбы. Потом всё пошло привыч-

ным чередом, но не прошло и месяца, как Антон увидел Софью Яковлевну в траурной косынке. Спросил, что случилось? Та с трудом выговорила: «Сына застрелили у ресторана, а кто — выясняет следствие». И захлопала носом, залилась слезами, махнув безнадежно рукой. Связана ли смерть его с утратой тех монет, Антон, конечно, не мог знать. Возможно, «качка» застрелили совсем по другой причине. Убийства участились, к этому все стали привыкать, тревожные события нарастали в стране, как снежный ком.

Вскоре вернулась из Запорожья Лена с дочкой и отцом. Корнил Маркович сразу кинулся ругать зятя за неспособность прокормить семью, мол, перестал получать даже жалкие газетные гонорары, спрятался на даче, зарылся в грядки. Пришлось наедине показать ему золотые червонцы. Корнил Маркович удивился, выслушав его рассказ об утином «кладе», долго думал и наконец решительно сказал:

— Поступим так: я монеты забираю, а ты — рот на замок и не чирикай. Сиди и чеши свой крысиный хвостик на затылке, как чесал. Ладно, знаю, ты человек воображения, а я — практического ума, у тебя штаны простые, а у меня — с лампасами. Запомни: сбитый с седла казак должен в седло возвращаться с шашкой. Пораскинь мозгами, чем хотел бы заняться в дальнейшем? Составь

бизнес-проект, как принято теперь говорить. По-чеши «репу» — просчитай затраты. Я к тебе вскорее прискочу, буду твоим, так сказать, инвестором, поскольку лучше соображаю, что делать с червонцами, уловил?

Антон только головой кивал в знак согласия. Корнил Маркович, что отец родной, худого не пожелает. К тому же, сам мечтал заняться современным делом, не зависеть от гонораров. Кое-какие деньги тесть всё же оставил, выразительно взглянув на него, мол, даю тебе, непутёвому, только ради дочери...

Лена начала учить музыке частных лиц, потом устроилась давать уроки музыки в детском саду. Антон продолжал ходить по редакциям, выяснять, где бы найти работу, предлагал взять у него тот или иной материал для публикации. Кое-когда брали, однако деньги за статьи приходилось долго ждать. Он не терял надежды на хорошее трудоустройство, порой задумывался о составлении проекта, как советовал Корнил Маркович, но ничего толкового не получалось. И жена в этом мало что соображала. Успевал ходить на дачу собирать урожай. В такой неопределённой обстановке жил, как вдруг получает телеграмму о смерти своих родителей. «Как, сразу оба?» — изумился он, повторно читая текст у дверей квартиры и тупо глядя в след почтальону. И будто молния ударила по

его мозгам, ноги подкосились, и он рухнул на цементный пол этажной площадки. Очнулся оттого, что знакомый дворовый пёс шершавым языком лизал ему щёки, губы, нос, обдавая горячим дыханием. Встал, погладил хвостатого друга, побрёл в квартиру, потирая шишку на голове выше виска, и подумал, что могло быть хуже — овал лестничного порожка смягчил удар.

Позвонил в Мурманск сестре Антонине, та тоже была потрясена случившимся, уже взяла билет на самолёт. Антон, посоветовавшись с женой и заняв у знакомых деньги, первым поездом выехал в Москву, затем вылетел в Сибирь. Вскоре вернулся в Орёл душевно опустошённым, оставив сестру Антонину решать наследственные вопросы. Он просто не в силах был смотреть в глаза семье милиционера Льва Прохоровича, особенно его дочери, с которой дружил с детских лет. Трагедия в посёлке его ошеломила. Кратко рассказав жене, что произошло с родителями, он замкнулся в себе, почувствовал: рушился тот светлый мир, который с ранних лет был его жизненной опорой.

Антон немного приободрился, встретив Дим Димыча, тот предложил ему поработать в новой газете с названием «Светлый посад» вместо жур-

налистки, ушедшей в декретный отпуск. И концепцию газеты изложил тут же:

— Всё просто, Антон. Мы стараемся писать о чём угодно, хоть про святки, хоть про блядки — главное, писать ярко и интересно. Нам объективность не нужна, для этого существуют другие газеты. Мы должны удивлять, менять сложившиеся стереотипы сознания. Народ устал от бесконечных реформ. Как жить и что делать, знает без нас. «Светлый посад» должен расширять читательский круг, иначе окажемся на паперти с протянутой рукой. Информацию даём разную, главное, чтобы она была удивительной, разнообразной и краткой. Ведь информация — это не знание, а наоборот — незнание. Нам раньше давали знание, а мы ничего не знали...

Антон отвык от таких переворотных слов, произвольно хмыкнул. Дим Димыч осуждающе посмотрел на него.

— Это ты зря, забыл, наверное, вузовские лекции о значении мифотворчества в жизни государства, народа и личности. Придётся напомнить основное. Во-первых, реальность без мифа скучна и жестока. Она не даёт нам представления о действительности, и человек вынужден дополнять реальность придуманными светлыми представлениями. С древнейших времён дополняет, и этим

отличается от остальных животных. Каждый человек судит о мире по-разному в силу различных причин и особенностей восприятия. Нас объединяют мифы, которые мы сами и создаём. Мифы объясняют происхождение мира, появление человека, получение им культурных благ, неравенство в обществе. И почему оно должно двигаться, куда именно и по каким законам. Всё это функция мифа. Во-вторых, нами правят наши же мифы...

— Не преувеличивай, Дима, я, например, сторонник научного объяснения мира.

— Наука идёт своим путём, миф — своим, — резко парировал Дим Димыч. — Они не конкурируют друг с другом, да и сама наука мифологична. К примеру, наука может что-то доказательно объяснить — мы это объяснение принимаем как данность, — но не видим целой картины. Заметь, данность с годами устаревает, возникают новые гипотезы с новой данностью. Беспомощна наука в вопросах первопричины возникновения Мироздания. Учёные могут лишь морщить лбы и надувать щёки. Их открытия облегчают труд, развивают технологии, но они не делают человека счастливым, а за мифы он готов отдать свою жизнь!

— Назови хотя бы один, — прервал его Антон.

— Миф о бессмертии человека! Миф о свободе! Это вечно, как сама Земля. Главное условие для



человеческого счастья — свобода. Даже по Библии видим: Адам, вкусив запретный плод с дерева познания, выбрал себе путь к свободе.

— Ну да, — отозвался Антон. — Змей-искуситель уговорил Еву, а та — Адама. В результате оба обрекли себя на муки — славный выбрали путь. В раю, оказывается, им свободы не хватало.

Дим Димыч не сдавался:

— Да, не хватало! Свобода в раю была, но в пределах Божьей Воли.

— Выходит, неограниченная свобода — это свобода Дьявола. Не пойму тебя, Дима, не к религии ли ты меня подвигаешь?

— Сам подойдёшь, когда срок наступит, как говорят попы. Мы с тобой журналисты и должны понимать вещи глубже своих читателей. Где творчество, там религия кончается. Вспомни, Гегель утверждал, что многие вещи нам хорошо известны, но это вовсе не значит, что они нами поняты. Я и хочу, чтобы ты чётко усвоил: великий миф о коммунизме, которым мы жили, теперь не работает. Он отошёл на задний план, выполнив свою задачу на данном историческом этапе. Хотя бы это тебе понятно без Гегеля?

— Спонсоры твоей газеты включились в работу по обрушению великого мифа, чтобы расчистить дорогу для мифа либерального, — это мне понятно. Теперь будем с тобой менять местами пред-

ставления о добре и зле — добрые сказки заменять на злые. Добрые дела предшествующих поколений перечёркивать и забывать.

— Зачем же так? — Дим Димыч поморщился. — Надо правильно расставлять акценты, когда речь идёт об этих категориях. Вчерашнее добро таким сегодня уже не является. Наше дело писать и крушить всё отжившее. Вот и пиши, не стесняясь, чувствуй в себе свободу от всего. И пусть всё непривычное станет привычным. Учись у европейцев раскованности пера, неважно, дьявол ли сидит на кончике или Господь водит рукой. Пусть читатели сами решат и делают выводы. Может, только так сможем повернуться лицом к рынку.

Антон не стал ему говорить, что знает, кто хозяин «Светлого посада» и почему Дим Димыч оказался главным редактором. Коммунисты имели в области сильные позиции, и руководство области решило снизить накал критики в свой адрес, заранее, до предстоящих выборов, организовав новую газету.

По коммунистам будут наноситься удары. Дим Димыч на них злой — они в период перестройки ему много крови попортили, когда работал в главной областной газете.

И Антон Кузьмич принял его предложение, тем более от уехавшего тестя вестей не было, Корнил Маркович, видимо, только начал точить шашку

в Запорожье. Он и в Орле, помнится, ходил так, словно рукой придерживал её на боку. Не раз с возмущением рассказывал ему о рассказывании своего лихого воинства, запоздало ругал большевиков, особенно ненавидел председателя ВЦИКа Я.М. Свердлова. Откровенно говорил, что когда слышит имя «Яков», отчество «Яковлевич» или фамилию «Яковлев», то испытывает к их носителям заранее недобрые чувства, и ничего с этим не может поделать. Лена тогда, улыбаясь, заметила: «Папа, не смейся, ты же сам был членом партии, долго руководил потребсоюзом!» В ответ отец откровенно сказал: «Леночка, каюсь, находился в затмении, зато я быстрее многих прозрел!»

Вот и Антон начал быстро меняться, окунувшись в работу нового еженедельника. Многие ценили его за прошлое острое перо. Коллектив «Светлого посада» состоял из семи человек. Все сидели в одном помещении, друг у друга на виду, у каждого свой рабочий стол и компьютер. Главный редактор с ними работал напрямую, так ему легче организовывать общую работу. Он ежедневно с утра занимался правкой материалов и контролировал выпуск очередного номера. И сотрудники у него были универсалами: всё могли, но копали неглубоко, поверхностно, им всегда было некогда. Это в солидных редакциях работа строится по тема-

тическим разделам, имея отделы: политики, экономики, происшествий, культуры, спорта. Они могут себе позволить и жанровое разделение, имея специалистов: новостей, репортажей, интервью, комментариев, и содержать ряд служб. Там журналисты высококлассные, потому что могут специализироваться на чём-то одном. У «Светлого посада» таких возможностей нет и никогда не будет — прошли те прекрасные времена тихих кабинетов с телефонами. Это давно понял Антон и окунулся с головой в работу. Дим Димычу нужен был толковый журналист, чтобы часть своей работы переложить на него. Он же не только проверял материалы сотрудников, но и брал на себя отчасти коррекцию и вёрстку. То есть, он взвалил на себя ношу не по плечу, превратив общую комнату в некую штаб-квартиру: покончив с одним номером, светлопосадцы переходили к заполнению другого номера. Антону к этому не привыкать, вписался в коллектив быстро, и закрутилось, как он любил говорить, «наше чёртово колесо».

С первых дней он сразу приметил журналистку Жанну Лесковскую, при виде которой у него ёкнуло сердце, замирала душа, будились неосознанные мечтания. Она очень нравилась ему. Жанна занималась дизайном газеты и освещала новости культуры. Одновременно глубоко вникала в работу местной думы. В этой красивой женщине

он обнаружил яростную страсть к обличению тех депутатов, которые, по её мнению, не выполняют наказания избирателей. Это стало её «коньком». Дим Димыч порой не знал, что с ней делать: пишет убедительно, но статьи её идут вразрез с концепцией газеты — фактически, она отбирает «хлеб» у оппозиционных журналистов. И отвергнуть жалко, и публиковать опасно — можно нарваться на общественный скандал и судебные разбирательства. И расставаться с ней не хотелось, она — профессионал высокого класса.

— Что ты мучаешься? — однажды наедине сказал ему Антон. — Введи рубрику: «За пределами посада», и пусть в полполосы высказывается. Ещё посмотрим, сумеет ли втиснуть туда свой обширный материал. Заметь, она любит подробности и точность, это её почерк.

В душе он не одобрял её думские разборки, опасался за неё, и уже начались угрозы в её адрес.

Дим Димыч согласился.

Жанна приубавила пыл, хотя каждый раз недовольно ворчала на редактора. Потом Антону стало известно: она негласно зачастила в другие газеты, предлагая свои хлёсткие статьи, что покорило его — вдруг далеко пойдёт, ведь у него сложились с ней романтические отношения, если не больше... И как всегда в подобных случаях жене и дочке стал уделять меньше внимания.

И резко изменились иные обстоятельства. Как-то однажды, когда редактор делал просмотр очередного его материала, Антон смотрел в окно. За окном лежала белая ржавчина снега на сохлой листве газона. Деревья тянули худые ветви рук в небо, где сгущались тучи и рокотал гром. Он отвернул взгляд, и в это время, оплавив оконное стекло, влетела в помещение шаровая молния размером с кукиш. В мгновение ока, проплыв над головами притихших журналистов, огненный кукиш с грохотом разорвался над люстрой, осыпав их битым стеклом...

Целый день «светлопосадчики» обсуждали это событие, собирали осколки стекла в разных местах. Придя домой, Антон Кузьмич неожиданно почувствовал в себе огромный прилив энергии необъяснимой силы. Вечером, ложась спать, он коснулся плеча жены и услышал, как она внезапно ойкнула и заплакала. В темноте заметил: от пальцев его рук исходят светящиеся лучи... Он ещё не знал, что сделался носителем электрических зарядов и что с этих пор станет причинять боль каждому, к кому прикоснётся руками.

Первое время Антон мучился, не находил объяснения этому странному таинственному явлению: то ли Бог покарал, то ли благодатью наградил неизвестно за какие заслуги. Стал думать, как с этим

жить? И постепенно пришёл к утешительному открытию: оказывается, после двух рюмок коньяка электрический заряд в его организме пропадает, и он начинает чувствовать себя превосходно — на уме только Жанна. Если не выпивал, ходил раздражительным, ощущал беспокойство. Если раньше в душе уважительно относился к коммунистам, несмотря на газетную концепцию, пытался искать истину, то теперь окончательно запутался, всё перемешалось в голове, превратилось в абсурд. Появлялась необъяснимая злоба ко всему прошлому, особенно к исторической России, требовавшая выхода. И сыпались статья за статьёй в газету «Светлый посад» о «душителях свободы», где СССР назывался «рабской» страной, в которой расчеловечивался человек. И тут же он восхищался западной свободой, ловко вплетал рассказ о скромности Кромвеля и римского императора Веспасиана, сравнивал их с царём Иваном Грозным, называя его Кровавым, и чувствовалось, как автор скрипит от возмущения зубами за его лютость. Уверял читателей о глубочайшей любви англичан к действующей королеве. Со знанием дела перечислял её гардероб и блюда на завтрак, и что предпочитает она откусывать в вечерние часы.

Первой не выдержала Лесковская, сделав ему замечание:

— Антоша, где едят телятину, ты подаёшь латинотятину. Вот ты пишешь: «Мы русские — «недособорованный народ». Не умничай, термин «соборность» относится лишь к глубоко православным людям, так сказать, воцерковлённым. Я, к примеру, забыла, когда в храм последний раз ходила, а — ты?

Он промолчал, но ей было мало:

— Иван Грозный, конечно, не ангел, но и ты — не судья ему. Ты не жил в то время, а тогда на Руси и Западе остро ощущали второй приход Христа. Почитай нужную литературу о 16-м веке, может, поймёшь, почему так легко лилась кровь, и уже по-другому посмотришь на дела царя Грозного. Он — младенец по сравнению с современниками — королями Европы — громилами и кровопийцами. Пойми, ложью новые мифы не создашь, а старые — от этого только укрепляются. Переборщил ты, Антон Кузьмич!

Но он не слышал её, в нём внезапно проснулся европеец-рыночник — в текстах начал сыпать такими терминами, какие даже в специальных словарях ещё не появились. В них разливался густой аромат ненависти к Советскому Союзу, от которого здоровые люди отворачивали носы, а другие — с любопытством принимались. Вскоре он получил прозвище «Шокер» за опасность рукопожатия.



Так ли это на самом деле — трудно сказать. Об этом хорошо осведомлён известный в узких кругах Орла жэковский художник Голуб Вениамин Иванович, который в дальнейшем предстанет перед нами. Это замечательный человек. Он без электробоязни подходит к любому гражданину, будь тот хоть трижды «Шокер», если это стоит чего-нибудь. Однако речь пока не о нём.

Так, ни шатко ни валко, шло время. Дим Димыч изумлялся, не узнавая Антона. Одно время негодовал в душе, хотел поубавить его творческий порыв, но отступил — спонсоры «Светлого посада» увидели в Керберове Антоне Кузьмиче кандидата на получение престижного звания «Золотое перо России». Случайно узнав об этом, грядущий носитель драгоценного пера заулыбался, мысленно представил себя червяком, который долго барахтался в куче дерьма, потом выполз, окуклился, вырвался из оболочки и, наконец-то, запорхал в синеву белокрылой бабочкой. Дим Димыч вынужден был отвести ему в еженедельнике отдельную полосу под рубрикой «Лопухи овражные».

Как-то, выполняя поручение главреда, светлопосадовец Тимур Избасараев решил написать статью о Сталине, ссылаясь на столичные слухи. В ней утверждалось: Сталин — внебрачный сын известного учёного-путешественника Пржеваль-

ского. И намолол чепухи о сибирской ссылке Иосифа Виссарионовича, его амурных похождениях, и рождении внебрачного сына. Текст решил показать Антону, ожидая похвалы. Тот, ознакомившись с материалом, охладил его:

— Ничего нового! Этим мало кого удивишь. Смотри на вещи шире. Вот если бы ты намекнул, что лошадь Пржевальского на самом деле не лошадь, а обыкновенный лошак — помесь жеребца и ослицы, я бы насторожился, мне как читателю было бы интересно, что дальше?

— Шутишь? — взглянул на него Тимур. — И что дальше?

— Дальше я бы написал о некой племенной работе современных учёных. Например, в своих опытах им удалось скрестить жеребца с верблюдицей, получив новую породу — безгорбого скакуна пустыни. Это животное овёс почти не ест, воды пьёт не больше курицы. Намекнул бы, что наша армия уже заинтересовалась данной породой для решения своих задач на Ближнем Востоке...

— Намек на Евразийский проект, — не утерпел Избасараев. — А как быть со Сталиным?

— Вижу, начинаешь соображать! — одобрил Антон. — Далее я бы вскользь, ссылаясь на слухи, сообщил, что скоро состоится смотр-выезд всадников Кремлёвского полка на этих животных, и, мол, однажды во время репетиции один из вер-

блюдов на Красной площади упорно тянулся к могиле Иосифа Виссарионовича, чуть не сбросив седока.

— Ух, ты! — восхищенно потёр руки Тимур. — Суперкласс!

— Пользуйся, не жалко. Можешь закончить так: «После этого случая патриарх окропил могилу вождя святой водой».

И всё же Антона печалила электрическая сила, исходящая от рук. Другой на его месте давно бы стал экстрасенсом российского масштаба, а ему — газета важнее, и Жанночка на уме. Как-то встретился в сквере Гуртьева с приятелем — чиновником областной администрации, Яковом Ивановичем. Заулыбались оба, увидев друг друга ещё издали. Всё же в детстве вместе росли.

— Привет, как работается в «Посаде?» — любопытствовал тот, протягивая руку.

— Вливаемся ручьями в наши мелкие воды! — бодро отрапортовал Антон и сердечно пожал крепкую длань земляка, вложив в неё непроизвольно порцию электричества.

Яков Иванович содрогнулся всем телом, чуть не выругался, но на постаменте стоял генерал Гуртьев, опираясь руками на шашку, и строго взирал на него. По аллее с хмурыми лицами брели горожане, изредка посматривая на них. Привычный ко всяким неожиданностям чиновник справился

с эмоциями и, придав лицу прежнюю улыбочку, проворчал:

— В тебе гуляет какой-то ток, может быть, даже от блуда... твоих ручьёв? Ты уж смелее направляй их куда надо, а то они что-то из стороны в сторону виляют, никак в русло не попадут. Учтите это с Дим Димычем. И ещё скажи мне, Леночка по-прежнему ревнует тебя? Смотри, не обижай её, не шастай по закоулкам, я с ней за одной партией сидел, ты уже потом подвернулся, она бы за меня вышла.

И раскатисто, добродушно рассмеялся.

«Какой ты мне земляк? — подумал Антон. — Не помог трудоустроиться, всё обещал: «Подожди, решим твой вопрос». Перестраховщик!»

Прощаясь, Яков Иванович обошёлся без рукопожатия, сказал полушутя: «Будь здоров, и держись линии партии. Продолжай вспарывать банку скрытых фактов консервным ножом газеты!» Он любил образно выражаться, дружил с литераторами.

Керберов понял, настроение земляку испортил не только электрический разряд, но и последний номер «Светлого посада», где он затронул вопрос о «несамодостаточности местной власти». Это плохой сигнал... «Руку не пожал Яша, — размышлял Антон. — Намекает на моё увлечение Жанной Лесковской, но кто донёс? Не может он о ней

ничего знать. Мы оберегаем наши отношения, не выставляем напоказ».

Антон облегчённо вздохнул, вспомнив, какой заряд даёт любовь! Порой не может отлипнуть от металлической калитки её дома на улице Гоголя, где она квартирует. Так и будет стоять, держась за ручку двери, ждать, пока она не появится; а не появится, то лишь проезжающий мимо трамвай снопами искр из-под дуги отключает его от калитки. Сколько раз просил заземлить её, сделать контур, даже деньги обещал дать на это, а в ответ она только смеялась. Теперь и над его статьями стала потешаться: «Антоша, — говорит, — удивляешь ты меня своей писаниной — последнее уважение к себе теряешь, бросай это жёлтое дело. Будешь продолжать, я возьму и напишу заявление Дим Димычу об уходе».

«Грозится, но не уходит, а куда? — мысленно спрашивал он себя и делал вывод: — Тиражи газет падают, люди перестают читать, уткнулись в экраны телевизоров. Журналистов — пруд пруди, от безысходности в торговые менеджеры уходят. Нет, без Жанночки любой посад — не посад, она фонтанирует идеями, пишет удивительные статьи, хотя потом плюётся — мол, не так высказалась, не то на сердце лежало, не даёт ей Дим Димыч развернуться».

Как-то, когда она в очередной раз его отругала, Антон выпалил:

— Редактору нравится моё перо, называет его «золотым», а меня — умнейшим журналистом!

— Антоша, ты безумец! Почитай Иоанна Златоуста, где он пишет, что Давид называл безумцем не слабоумного, а человека развращенного умом. Я поняла, у тебя нет сердечного духовного зрения, у тебя сухой протестантский рассудок!

— Работа у нас такая — собирать крупницы лжи. Время на дворе постмодернистское, не я перевернул мир вверх тормашками, — оправдывался он. — Люди покупают информацию, сами определяют, что хорошо, что плохо.

— Совесть у тебя есть?

— Что за товар? — вдруг злобно резанул он.

— Даже так? — удивилась Лесковская. — Тогда каким чутьём определяешь товар: тухлый он, порченный или свежати́на?

— Дело не во мне, а в спросе, — уныло парировал Антон. — Деньги, как известно, не пахнут...

От такой ходячей пошлости она чуть не врезала ему пощёчину:

— Ну, знаешь, больше ко мне даже не приближайся!

Тут и Леночка начала болеть — худела на глазах неизвестно отчего. Врачи ничего не находили, ничего ей не помогало. По мере того, как она увядала, Жанночка расцветала в полную силу. От вида

её красы, он терял голову. Ему казалось, что одно её появление на работе снимает с него электрическую порчу, и без коньяка становилось легче. Теперь, после последнего разговора с ней, у него не осталось никакой надежды на её любовь, она не хотела его видеть.

Обрадовал его первый перевод денег от тестя, которые должны пойти на организацию семейного бизнеса — так в телефонном разговоре сказал Корнил Маркович, обещая в скором времени лично «прискакать».

И он отправился в сберкассу. На Ленинской улице встретил старого знакомца — художника Вениамина Ивановича Голубя. Того самого, что не боится электроударов. Личность известная в узких кругах, а кто его не знал, обычно обращался за разъяснением к орловскому писателю Анатолию Яковлевичу Загороднему, и тот давал о Голубе самую полную и лестную информацию-характеристику.

Ещё до встречи, не видя его лица, Антон сразу определил по сиянию вокруг его головы: «Это — Веничка!» Если раньше от художника за версту несло водочным перегаром, то в данный момент самогонный дух его можно было почувствовать даже в 909-м квартале. Он хотел было разминуться с ним, но от острого взгляда Голубя не так-то просто уйти. Вениамин Иванович всех знал издали и поимённо, и ко всем тянулась его щедрая

и добродушная душа. Кирпичей за пазухой он никогда не носил. Для камешков же у него на куртке имелось множество карманчиков, в которых всегда что-то звенело и брякало. В данный момент у Вени нагло торчало из кармана горлышко белоголовки, именуемой в рабочей среде «чекушкой».

— О-о-о! Ваше степенство, Антон Кузьмич, рад вас приветствовать. И новостями обменяться, так сказать, я — вам, вы — мне. У вас — рабочий интерес, у меня — никакого, разве что — духовный...

— Да уж, — здороваясь с Голубем, поморщился Антон, — дух ещё тот...

— Это Валера Шапочка угостил меня, вылечил, на ноги поставил. Думаю, долечиться...

— Это новость номер один? Считаю, принял во внимание, — буркнул Антон. — Полезное есть для широкого внимания?

— Газетчики! — тяжело вздохнул Веня. — Понимаю, ваша мозгомойная машина запущена на полную мощность, не остановить. Вы же сознание человека извертели, извратили. День и ночь, день и ночь всё видите и слышите, что сова...

— Какая сова? — дёрнулся Антон. — Перебрал ты, Веничка...

— Это к слову. Вспомнил Бориса Ивановича, биолога, он о птицах многое знал. Как-то дал мне совет: голубчик, коли встретишь сову, отверни глаза, она зрячая и днём. Просто днём она впада-



ет не в сон, а в дурь! Но всё видит, всё схватывает. В общем, не до конца понятая птица...

— Это ты к чему байку травишь? — вскинул брови Антон.

— Вот к чему. Допустим, Абрамовичу или какому-нибудь Рабиновичу уже по природе своей положено быть космополитом, но тебе-то зачем? Ты же сам говорил, что родом из семьи таёжников, так сказать, лапотников. Теперь работаешь в наших краях, но чей ты? Вчера читал твою стряпню в «Светлом посаде», где меня, читателя, уверяешь: «Отечественную войну победил народ вопреки партии, и всё лучшее в годы советской власти творил вопреки ей». Это как? Ума не приложу, кто же тогда народом руководил? Знал тебя, как нормального человека, не раз вместе выпивали, о многом спорили, мечтали, а ты, оказывается, перешёл на службу космополитам...

— Не читай газет, береги зрение и нервы, — резанул Антон. — Тебе назад хочется в прошлое, а молодёжи надо идти вперёд, понимаешь? Дважды в реку не заберёшься, тем более в реку времени. Тоже мне — читатель, водкоглотатель.

В ответ Веничка разошёлся, начал жестикулировать руками, камешки из его карманов принялись выпадать, катиться вниз по бывшей Болховской улице, привлекая внимание прохожих. Антону сделалось неловко, захотелось поскорее избавиться

ся от художника, а тот уже тянул его за рукав в сторону кафе «Ягодка».

— Не могу, Вениамин Иванович, мне сегодня никак нельзя, дела ждут...

— А-а-а! — спешешь добывать сырьё для мозгомойки? Ты знаешь, губернатор не очень-то в восторге от твоей писанины: «Не одобряю, — говорит, — агрессивный накат на прошлое...»

— Можно подумать, ты сидел рядом с ним.

— Шила в административном мешке не утаишь, пойдём в «Ягодку», посидим, как бывало...

С трудом отбился Антон от художника, тот быстро переметнулся на другую сторону, к кинотеатру «Победа», завидев очередного своего знакомца, и Антон облегчённо вздохнул, продолжая путь по булыжной мостовой к зданию Госбанка.

Впереди него по Александровскому мосту медленно шли две старушки, видимо, из литературного кружка, одна другой восторженно ворковала:

— Я вдохновилась японской классикой Исикавы Токобуку. Послушай, как у меня звучит:

Над водою сакура, где рыбка блеснула звёздой,  
Я всё ещё помню и люблю Козерога.

У Лукьянихи корова отелилась, назвали «звёздочкой».

Мощно, правда?...

«При твоей немощи сойдёт!» — мысленно ответил ей Антон, обгоняя старушек. Шёл взволнован-

ный, в этот момент ему хотелось быть Козерогом, всё ещё любимым Жанночкой. И нарастала злость на себя, и огнём жгло нутро. «Надо было, — подумал он, — принять Венино предложение, зайти в кафе, рюмка коньяка помогла бы снять напряжение». Он уже знал, что на столе у Дим Димыча с утра лежит заявление Лесковской об увольнении. Как же быть? Без неё делать нечего в мире...

В это время дочь некогда убитого его отцом возле таёжной избушки участкового Льва Прохоровича Филонова выходила из салона экскурсионного автобуса. Она собиралась с группой приезжих осмотреть памятник Лескову. Проходивший мимо автобуса Антон бросил случайный взгляд на неё и вздрогнул. Внутри у него что-то загорелось, потом он почувствовал падение в холодные воды какой-то огромной реки, по берегам которой горела и дымилась тайга... И он, захрипев, свалился на асфальт. Прохожие кинулись вызывать скорую помощь.

Она приехала быстро. Врач и фельдшер ничего не смогли поделать, он сгорал на глазах...

Это было редкое явление человеческого организма — самовоспламенение. Внутри тела Антона Кузьмича Керберова ничего не осталось. На асфальте лежала сморщенная телесная оболочка.

## СОЛНЦЕ НАД НЕРУЧЬЮ

*Товарищу по перу, Васичкину В.М.*

Перед Крещением затрещали лютые морозы, под вечер разыгралась метель. Фермер Роман Слепцов полдня ждал ветеринара, не зная, что делать с Дамкой — у кобылы бока раздулись, с чего бы? Пришёл ветеринар, осмотрел и предположил: возможно, она объелась некачественного овса. Оставив кобылу на его попечение, Роман занялся другими домашними делами, а потом выпил-закусил, прилёг на диван под вой метели и задремал.

Приснился ему странный сон: на Орлике, что под «Дворянкой», стоит незнакомец в белоснежном овчинном тулупе и набирает из проруби черпаком воду в бочку, стоящую на санях, в которые впряжена Дамка. Это, однако, не вызывало в нём никакого удивления, словно кобыла уже выздоровела и передана соседу-селянину по его просьбе на перевозку сена с дальнего конца поля. Такое было. Между тем возчик, лицо которого он не разглядел, набрав бочку воды, неспешно выехал на пра-

вый берег Орлика, двинувшись напрямиком через заснеженные сады и огороды в сторону 2-ой Пушкинской улицы, и скрылся в густом тумане. Фермер забеспокоился: возчик повёл кобылу, словно не было ни заборов с сараями, ни других препятствий. Он побрёл туда же, однако вскоре потерял сани из вида. И тут с необыкновенной лёгкостью сон переместил его к храму Иоанна Крестителя. Он оказался в толпе верующих, да ещё с простым солдатским котелком в руке. И у других горожан были такие же котелки, словно пришли за кашей к походной кухне. На лицах — ожидание раздачи. Среди них и заместитель мэра с депутатами горсовета, и Тимофеевна, знакомая продавщица мясного ларька, с внучкой, и Паха — братан со Сталепрокатного рынка. Они даже не кивнули ему, словно век не знали и знать не хотят — стоят и от мороза перебирают ногами. Толпа растёт, и тут из морозного тумана выплывает его Дамка и тащит сани с бочкой через трамвайные рельсы Карачевской улицы, приближаясь к храму. Народ радостно оживился, успев наморозиться. И он, невольно поддавшись общему возбуждению, начал протискиваться сквозь толпу навстречу саням. С трудом приблизился к кобыле и неожиданно для себя сделал открытие: на санях с черпаком в руке стоял не кто-нибудь, а сам... архангел Михаил! Был только миг удивления, потом Слепцов

принял это совершенно спокойно, словно именно ему и одолжил Дамку.

Между тем толпа выстроилась гуськом в длинную очередь к саням, и он стал ждать своего продвижения к бочке. Архангел Михаил, опустив руку с крестом в бочку и освятив воду, принялся черпаком отливать её в первый протянутый котелок. Роман Слепцов, поглядывая на раздаточный процесс, вскоре сделал для себя ещё одно открытие. Оказывается, архангел наливает воду в котелки не всем поровну, а исходя из каких-то своих предпочтений. К примеру, заместителю мэра отлил всего полчерпака, а Тимофеевне с внучкой — оставшуюся часть. Пахе — всего ничего: так, чуть плеснул водички и шепнул что-то сочувственное. Очень удивился фермер. «Я считал, — мелькнуло у него в голове, — кто больше грешил, тому больше святой воды требуется, а у него, ишь ты, — другой подходец, здесь что-то кроется». Когда же очередь дошла до него, посланец неба вообще ничего ему не налил, да ещё больно толкнул в грудь торцом ручки черпака, командовав: «Ступай прочь!» Слепцов вопросительно взглянул на него, из уст вырвался вопрос:

— Это почему же?

Тот и объяснил:

— Опохмелись! Вишь, котелок-то ходуном ходит, могу промахнуться. К тому же, ты своё уже выпил сполна.

— Держать буду двумя руками, не дрогнет...

— Сказано — отходи! Не видишь, божий народ волнуется, мороз крепчает. Мне ещё на речку ехать придётся — два рейса сделать. Мэр просил водицы подбросить к храму моего имени, что на Посадской, как не уважить бывшего автотранспортника...

Отошёл Слепцов, обиделся: «Как же так? Не сказал: «Зайди в храм, помолись, свечку поставь, а грубо потребовал — «опохмелись!» Я ж ему кобылу дал, а меня — деревяшкой в грудь... Какой ты после этого архангел?» Разволновался фермер, заёрзал на диване и проснулся. Минуту-другую соображал, где находится, возле стен храма или в квартире на Сталепрокатном?

За окном свистела метель, наконец, дошло: вздремнул в новом деревенском доме. Поднялся и подумал: надо бы ещё раз взглянуть на кобылу и сделать распоряжение Митрохе, потом ехать в Орёл, пока совсем не занесло дорогу. Сон тотчас забыл, мало ли чего в голову влетает?

У сарая-конюшни заметил Митроху, сгребаящего снег лопатой. Тот, проинформировал хозяина:

— Звонил тебе Илья, тот самый, говорить хотел. Недоволен был очень: говорит, что ты ему крупно недоплатил осенью при расчёте... Орёт, что терпеть дальше не намерен. Сволочем назвал тебя. Что отвечать, если повторит звонок?

— Говори что хочешь, я заплатил ему сполна, хотя он, подлюга, и того не стоит, пусть у бригадира своего поинтересуется, сколько обговаривали, и сколько дней бездельничал он в августе. Пусть голову мне не морочит, как говорится, поезд ушёл, рельсы остыли. Надоел гад!..

— Крепко-крепко материл тебя...

— Отвёл душу и ладно, ты своей работой занимайся!

— Мне что? Моё дело маленькое, я известил, а там хоть трава не расти, ты ж — хозяин...

Митроха в последнее время стал Романа раздражать своим независимым видом, к тому же, память у него слабеет — по десять раз приходится говорить одно и то же, но всё равно сделает по-своему. «Выгоню в шею к весне», — пообещал себе Слепцов, сядясь в купленный осенью внедорожник.

\* \* \*

Иван Дмитриевич, бывший лётчик гражданской авиации, тоже слушал метель в избе тёщи, соседки фермера Слепцова. Тёща захворала, и её поместили в областную больницу. Не первый раз попадает она туда. Каждый раз, когда находится на лечении, он приезжает в деревню, присматривает за её хозяйством. Совсем перебраться к ним в Орёл тёща не хочет — не представляет себя без



деревни. У неё здесь хозяйство: два десятка кур с петухом и шесть гусей. Даже собаки нет, лишь двух котов держит, чтобы гоняли мышей. Привык Иван Дмитриевич к её избе.

«Летом здесь хорошо, — думает он, — гуси сами кормятся, правда, зимой зерна требуют, но кормить их — дело нехитрое». Вон, свистит метель и что? Газ и электричество ещё в советское время провели, телефоны в деревне кое-где ещё работают, в доме тепло, вечерами можно смотреть телевизор. В подвале 15 мешков картошки, плетёнка моркови, кочаны капусты... В шкафу на кухне — крупы разные, чай, хлеб... Хлеб, правда, привозной — автолавка два раза в неделю приезжает. Пищу готовить он умеет. Жена за него спокойна, говорит: «Поживи пока в деревне». Нелёгко ей одной в Орле, но мать есть мать, может, скоро выпишут, а пока ежедневно ходит в больницу подкармливать её.

И вспомнил Иван Дмитриевич, как два года назад приехал сюда летом — ходил, визнавал, чем дышит-живёт местный народ. Соседа встретил, познакомились, тот назвался Сергеем Панкратовичем и ввёл его в обстановку:

— Смотри сюда, видишь? — указал пальцем в сторону торчавших крыш. — Там стоит заколоченная хата, дальше две такие же, а рядом — ещё и ещё... Никого нет, уехали люди, а какие помер-

ли. Деревня обезлюдела, коров и тех осталось две на всю деревню. Молоко пьём пакетное, что привозит автолавка. Разве сравнить его с нашеньским, а где взять? Держат лишь поросят, да птицу. Цены на всё растут, покупаем самое необходимое, без чего не обойтись. Бани нет — моемся во дворах или избах. Медпункт, закрылся, властям не выгодно его держать.

— Почта есть? — поинтересовался Иван Дмитриевич.

— На замке почтовое отделение, клуб тоже закрыт по той же причине. Слава богу, телефонную связь ещё не обрезали. Дорога ухабистая, в Змиёвку выезжаем, когда приспичит. Питаемся, что дают огороды. И все наши беды пошли после развала колхоза. Люди начали разбегаться, в столицу перекинулась молодёжь, а старики — на погосты. Кое-кто сделался фермером. Немного таких набралось, но считаемся первыми — с нашего района началось фермерство в области. Правда, скоро убедились, что это дело в основном надуманное, если не пропащее. Тут угнездились, скажу тебе честно, наиболее расчётливые мужики, но таких — островок среди моря нищеты. И твой сосед, Ромка, — туда же... По-новому захотел жить...

— Что в этом плохого? Смотря как по-новому... — хотел уточнить Иван Дмитриевич.

— С наглостью! Вот как. Всколыхнулось море, захлестнула волна, поднялась со дна разная нечисть, жадная до чужого, и он туда же... Прикинул: земля захвачена агрохолдингами, в поле делать ему нечего, сельхозтехника тоже в ловких ручищах. И решил на осиротевшем родительском дворе разводить гусей, уток и кур стадами. С зерном нет проблем — успевай только подвозить. У него «Жигуль» ещё от отца остался. Потом сразу купил себе новый внедорожник.

— Разбогател?

— Непонятно как, но счастье привалило. Он прежде работал на Сталепрокатном заводе, потом там стали платить копейки, уволился, перебрался в отцовскую хату и наладил дело. Уже на следующий год начал забивать птицу и распродавать её на базарах, научился коптить туши в самодельной коптильне. Младшую сестру Катерину подключил к делу. Она торговлей занялась, оказалась расторопной, потом привезла ему в помощь бомжа Митроху, и тот прижился у него: пас гусей, кормил их, забивал, ощипывал, разделывал... Ромка на нём экономит, денег ему не платит, всё одно — пропьёт. Зато у того есть кров и еда. В городе он никому не нужный, потому как беспаспортник. Конечно, трудится не только он, летом приезжают помогать городские Ромкины родственники. Зимой не показываются. Двор до весны пустеет,

остаётся лишь Митроха. Он и конюх, и сторож. Интересный человек, сам потом узнаешь.

— Добротный дом поставил фермер. Стройка — дело трудное, у него что, семейный бизнес?

Панкратович неопределённо крутанул головой и пояснил:

— Вообще-то, он сам делами заправляет — мотается туда-сюда. Машина за машиной приезжали с кирпичом, лесом, бетоном... Потом бригаду строителей нанял, орал на них — на другом конце деревни было слышно.

— Семейный? Ведь дом здесь, а в город уезжает...

— Ходит слух, что женатый, есть двое детей. Жена дважды от него уходила и возвращалась, теперь, вроде бы, окончательно уехала в Ливны к родителям. Чья у него квартира в Орле — не могу сказать. У тёщи при случае спроси, она больше меня знает. Я с Ромкиным отцом не ладил. Он в молодости утрёпывал за моей Зинкой, не раз схлёстывались. Хрен ему — я женился на ней, а он с носом остался...

— Судя по тельняшке, ты моряк?

— Давно это было. Пять лет отдал военно-морскому флоту. Когда демобилизовался, на трактор посадили меня, по колдобинам, как по волнам, поплыл, и сразу в поле. Теперь вот пенсию жду, начислят, а сколько? Всё переменилось, концов не найти, справки требуют... У тебя хорошая пенсия?

— Жить скромно позволяет. Лётная она у меня — зависит от полётных часов. Надо налетать шесть тысяч. К примеру, у вас трудовой стаж в годовом исчислении, а у нас несколько иначе: двадцать часов лётного времени приравниваются к месяцу трудового стажа...

— А меня однажды от трактора отстранили и поставили на прикол. Погоди, когда ж это было? А-а-а! При Горбаче, когда он с водкой боролся, а мы наоборот, — самогонили с удвоенной силой...

Панкратович усмехнулся и тут же, хмуро уставившись в землю, продолжал:

— Помню, напился я, в сон потянуло, а меня просят-умоляют: «Сядь на «Кировец», вытащи из грязи комбайн». Дело, конечно, минутное, но развезло меня тогда. Хрен, думаю, вам, не поеду. Всё же уговорили. Сел и поехал. Еду-еду — впереди столб, а в глазах — два: стоят, то расширяют, то сужают пространство. Я — туда, чтоб проскочить, где шире... И точно влетел в столб! Снёс его, мотор заглох, и я заодно. Потом, чуть не посадили за решётку. Трактор — ладно, чинить не впервой. Новый столб поставить — проблема!.. Лишил деревню электроэнергии. Лишили и меня всего, чего придумали. Долго к трактору не подпускали, стоял на причале... Сам себе укоротил трудовой стаж. Кстати, Митроха насчёт стажа не заморачивается. Поговори с ним, интерес-

ный бродяга... Всё думаю, долго ли он удержится у Ромки?

В другой приезд Ивана Дмитриевича в деревню Панкратович повёл его показать свою небольшую пасеку — четыре улья. Рассказал, что намерен расширить её — деньги нужны, чтобы достроить самодельный тракторок. И показал его, стоящего в сарае, — мол, надоело у Ромки просить по весне Дамку для вспашки огорода. Зашли в дом. Оказывается, жена у Панкратовича умерла. Теперь живёт с зайцем. Иван Дмитриевич искренне удивился, когда русак смело подошёл к нему и положил передние лапы почти на грудь, обнюхал лёгкую кожанку.

— Чудо лопухое! — воскликнул он, а хозяин пояснил:

— Это — Руська. Другую зиму со мной зимует. Собака в зубах принесла — смотрю, держит за шкуру зайчонка, где-то набрела на него. Я отобрал, оглядел: шкура чуть прокусана. Держу в руках, а он верещит, ругается, значит, требует свободы. Опустил на пол. Он осмотрелся, начал хлебные крошки собирать. Кочерыжку дал — жуёт. Ну, думаю, живи косой, посмотрю, что с тобой дальше делать. Видишь, прижился, ручным стал. Теперь он мой лучший друг! У него язык, что наждачная бумага. Утром будит — прыгает на кровать, начи-

нает лизать щёки, шею, мол, вставай, пора что-нибудь жевать. За мной по пятам ходит по избе: куда я иду, туда — он, а когда мне бывает тошно, начинает развлекать прыжками. Прыгает до потолка! Куролесит, барабанит по стулу, подходит, мордочкой щёкочет, чтобы, значит, потрепал за уши. Это тебе не кролик — тому лишь бы брюхо набить. Кролов держал, знаю. Руська — мужичок сообразительный, преданный, не хуже собаки. Когда ко мне Митроха приходит, он его встречает, лапами бьёт по карману, чует конфеты, просит угостить. Тот иногда балует его. Никогда не думал, что зайцы любят конфеты...

С Митрохой Иван Дмитриевич тоже быстро сошёлся в тот ещё, свой первый приезд. Когда бомж узнал, что перед ним бывший лётчик, он вынул из кармана лист бумаги и прочитал:

*Лётчик на пенсии ходит на лекции,  
Пёрышки птиц собирает — коллекцию.  
Чинит в квартире электропроводку,  
Пьёт простоквашу из рюмки,  
Как водку.  
И не летает, совсем не летает...  
Старую кожанку молча латает.  
Выйдет, бодая квартирные двери,  
Сядет на лавочку где-нибудь в сквере;*

*Смотрит на круглое небо украдкой.  
Небо — привычное небо — в порядке.  
А на душе неуютно, нелётно  
И беспросветно, и всё что угодно.  
... Чем отравить!  
Не любовью, не славой —  
Небом... Такою роскошной отравой.*

— Сам сочинил?

— Поэт Глеб Горбовский написал, называется «Лётчик на пенсии». Я в журнале нашёл, понравилось, выдрал лист.

Промолчал Иван Дмитриевич. В отличие от лётчика из стихотворения, он «на лавочке в сквере», никогда не сидел от скуки. Выйдя на пенсию, отдавал всё свободное время старому увлечению — делал маленькие копии моделей самолетов. Любовь к авиации возникла у него ещё в пионерском возрасте, когда занимался в авиа-модельном кружке. В городской квартире у него на полках стоит много стендовых копий самолётов, в том числе, на которых летал, а летать приходилось по всему Советскому Союзу. Увлечение с годами росло, да только времени не хватало. Теперь, в доме тётчи, он может и телевизор смотреть, и ножичком вырезать детальки очередного фюзеляжа уже радиоуправляемой модели с бензиновым двигателем. Что там ножичком, специальных ин-



струментов — сумка не вмещает, в ней и рулончики особых материалов хранятся, и краски, и клей... За многие годы научился паять, клеить, красить, строгать-шлифовать, раскраивать. Работа кропотливая, не каждому даётся. К весне опробует своё изделие — простор для полёта имеется. Порой работает, словно разговор ведёт о минувшей жизни. Мысли иногда делают неожиданные повороты, и он напевает:

*Спокойно грохочут турбины,  
бежит под крылом полоса.  
Тяжёлые наши машины  
стартуют легко в небеса...*

Небеса ему часто снятся. Вчера, например, летел он в синем небе, раскинув руки, как крылья самолёт, а впереди маячила в дымке облаков какая-то таинственная звезда. Он никак не мог к ней приблизиться. Теперь вот думает, что это было? Она и в прошлых снах не раз напоминала ему о себе.

И слышит, как в коридоре кто-то снег обивает, топчется в полумраке, дверь в комнату никак не нашарит. Заглянул, а там бабка Акулиха, что живёт в избе за вербами возле речушки Неручь. Никогда в гостях у него не была, хотя о здоровье тёщи интересуется при встречах. Недавно уставилась на его унты, в которых ходил за водой, и спрашива-

ет: «Пошто так вырядился?» Когда же рассказал, зачем их дают лётному составу, одобрила: «Хорошая обужа, никакая ревматизма не возьмёт!»

Акулиха перевалила за девяностолетний рубеж, всех мужиков моложе себя, называет не иначе, как «дитятко». К такому обращению в деревне привыкли.

Поздоровалась, вошла и сразу выложила просьбу:

— Я, дитятко мой, пришла вот зачем: надобно курчонка зарубить, племяш должен прикатить на днях. Угощеньев у меня нетути, сам знаешь, как живём, вот и хочу ему заранее щёц сготовить... Могла бы, сама справилась с курчонком тем, да дюже птица эта вёрткая, и глаз у меня не тот.

— Нет проблем, Акулина Васильевна, отрублю башку вашей курице, хотя не любитель этого дела. Митроха, например, хлопнет топором и глазом не моргнёт. Сотни две-три гусей за осень переколотил.

— Не-е-е, к ему шага не ступлю! Нешто это человек? Жизнь свою профукал, мать родную бросил помирать одну. К тому ж, языком молотит попусту, что мельница. Хвастал надысь: «Я и там был, и то видел»... Шиш волосатый, вот кто он — прости, господи, — а не человек. Зря ты, дитятко мой, разговоры с ним разговариваешь, он — птьфу! — пустое место. Не-е, уж лучше ты... и топорик прихвати свой, у меня — плоханький...

— Да хоть сейчас! — начал собираться Иван Дмитриевич, и полюбопытствовал: — Племянник с чего бы в мороз гостить надумал?

— И я тоже ему в трубку говорю: «Глянь, Коляжка, в окно-то. Видишь, погода взбесилась, хороший хозяин собаку из хаты не выгонит, дороги запуржило, куды собрался?» А он смеётся: «Ничего, бабуля, на другой день всё переменится, погоду обещают справную, я на лыжах кататься надумал, мне твоих пять вёрст не крюк». Вот тахто-то... Теперешние молодые праздничают каждый день. Как установят ёлки на новый год, так со столов и не вылазят — считай, до святок гуляют. Потом идут, лица распухшие, и пиву сосут. Не все, конечно. Есть, как Коляжка мой, — работающие, и интерес проявляют к Богу — тянутся, значит... Мне он одно заладил: «Отдай да отдай, бабуля, икону Николая Угодника»... Ну, ту, что от мужа мово осталася. Я и посулилась отдать — дюжа просил: «Угодник — мой тёзка, помогать будет в делах моих». Тепереча прикатит с рюкзаком, придётся отдавать... Мне много образов не надо, Спаса хватает. И книжки святых отцов не собираю, как некоторые. У меня в голове Евангелие с детства сидит, не вышибишь. И в сердце ношу. Это вам надо читать для ума... Ну что, собрался? Пойдём, дитятко, а то, вишь, я тебе на пол наследила...

Иван Дмитриевич облачился в лётную куртку с чёрным воротником, нахлобучил шапку с опущенными ушками, сунул ноги в унты, взял подмышку топор, и побрели они по глубокому снегу к её избе.

Она шагает впереди в ношенном мужском полушубке и валенках. Когда оборачивается к нему от порыва ветра, кажется ему: веет теплом. Бабка Акулиха скуластая, карие глазёнки широко расставлены, от них бегут под шерстяной платок «заячьи лапки». Время оставило на её лице множество борозд и ямок, пушок посеяло на верхнюю бескровную губу, но не согнуло позвоночник. Идёт прямо и упорно, словно главнее её в деревне нет никого. Она — мать, остальные — «дитятки».

— Чем занимается племянник? — спрашивает её на ходу.

— Тряпки заморские свозит в Змиёвку, торгует ими в палатке. А что? Берут люди одёжку привозную, своё рукоделье-то забросили. Он и меня хотел облачить во всё завозное, но я погнала его... Нешто стану чужие обноски носить? Намедни навёз их в посёлок и в отдых пошёл, потому как продажа некудышная. Говорит: «Ладно, не берут товар, стану на лыжах кататься».

— Одной зимовать не страшно? Всё же возраст есть возраст.

— Не всегда одна. То Полина ночует у меня, то Маша. Все свои, а как иначе? Чего страшиться-то? Волков охотники поубивали, а худым людям тут нечем пожить, они в города поутёкли. Годков — да, у меня много, но врачиха сказала: «Ишшо столько же проживёте». Нет, дитяtko, не страшно, я здесь родилась... Ну, вот и притопали к хате моей!

Ходьба отняла у Ивана Дмитриевича больше времени, чем курица — отрубил голову ей и вернулся к себе. И видит при подходе к тёщиной избе, как Слепцов завёл машину и поехал в город. Уехал и бог с ним. Не любит его местный народ, ругается при одном упоминании его имени.

Зашёл в избу, разделся, включил телевизор. В голову заскочила мысль: если Слепцов уехал, то скоро объявится Митроха, скучно ему одному в доме фермера.

Вот и он — лёгок на помине. От распахнутой двери потянуло морозным паром.

— Здорово, Дмитрич, в гостипустишь?

— Заходи, заходи, Митроша... Нет, погоди, снег не тащи за собой, обмети, и сбрасывай валенки, фуфайку, — останавливает его Иван Дмитриевич и улыбается, глядя, как тот непонимающе смотрит на него. — Сколько раз просил... Ты уже к бутылке приложился или думаешь?

— Как укатил хозяин, так и остограмился. Мне Пашка-ветеринар отлил от бутылки, что получил за Дамку. И велел овса ей не давать — может, говорит, протравленный. Будет выяснять.

— Тебе Ромка запас продуктов привёз?

— А как же? На этот счёт он не жлоб, но всегда предупреждает: «Не жри харчи все сразу, не на курорте!» Выпивки не привозит, сердится: «Напьёшься, как свинья, — беды наделаешь». Сегодня отругал за кормушку во дворе. Её снегом занесло, там зерно оставалось. Я говорю, что прикрывал рубероидом, но его ветром сдуло. Всё равно обматерил, — поясняет Митроха, располагаясь на диване напротив телевизора, чтоб не мешать Ивану Дмитриевичу.

— Однако находишь, где выпить?

— Попробуй, поживи без самогонки, когда такая хрень в стране! Мы же не мусульмане, хотя и они порой наркотой дурманятся... Вообще-то, Дмитрич, людям с глубокой старины всегда хотелось райского блаженства — вернуться в настоящий, заоблачный дом, — начинает привычно философствовать Митроха. — Ведь всё, что строится на земле, ветер времени сдувает, превращает в ничто!

— Ух ты! Здорово обобщил. Стало быть, у Ромки зря время теряешь, пора опять в бега пускаться? — интересуется пенсионер.

— Нет, ещё не пора. Слепец ко мне ключик подобрал — кучу книжек и старых журналов привозит, что люди оставляют у подъездов домов. Вытащит из багажника и говорит: «На, читай, чтоб самогонку от зимней скуки не лакал!» Сам не приучен к чтению. Ему деньги глаза залепили, он не только слепец, но и подлец вдобавок!

— ???

— Не кругли глаза, Дмитрич, он с Пахой, дружкой своим, — собирает дань с баб, что торгуют на Северном рынке. Вместе разбойничают, да ещё внушают им: «Мы ваша крыша — защита от чужих сборщиков». И не важно, бабка старая торгует или молодая мамочка, которой детей нечем кормить, всё равно требуют дани: «Плати, не то пожалеешь». И с южан-палаточников собирают. Куда мэрия смотрит, ей — что, деньги тоже глаза залепили? Мэры из фанеры! Годами не интересуются, что происходит на городских базарах, а там грабёж среди белого дня...

— Тебе это нужно? — ставит вопрос Иван Дмитриевич.

— Мне до фонаря, коли так устроен мир, но я не раз видел, как бугаи вместо того, чтобы силушкой своей защищать слабых людей, укорачивают им и без того горькую жизнь. И потом, кто-то же должен позаботиться, чтобы и для бомжей, вро-

де меня, и для бродячих собак денежки имелись в городском кармане. А ещё «господами» себя величают, мать их в фанеру! Сегодня Ромка приезжал один, а обычно — с Пахой. Когда сойдутся, то начинают выяснять: кто задолжал и сколько? Из разговоров я понял, что сосед твой, Дмитрич, подлец! Он лишь наполовину — фермер, а вторая его часть чёрная, и деньги такие же, что на дом пошли и внедорожник. Кстати, знаешь происхождение слова «подлец»?

— Не задумывался, мне что подлец, что мерзавец — всё одно.

— Не совсем так, дорогой мой. Когда-то в древней Руси за большую провинность человека зимой привязывали к столбу и обливали холодной водой. Лили воду, пока не покроется льдом и не замёрзнет. Тот, кто подливал воду, назывался «подлецом», а замерзшего преступника звали «мерзавцем».

— Ишь ты, всё вычитываешь, запоминаешь. Зря на память жалуешься... Кстати, а слово «дурак» откуда?

— Оттуда же — из язычества нашего. Это когда родители давали имена детям по порядку рождения: «Первак», «Другак», «Третьяк», «Четвертак» и так дальше. «Другак» в детском произношении звучит как «Дурак». Постепенно так и стали в семье называть второго ребёнка, а вовсе не потому,



что он умом неполноценный. К примеру, в некоторых документах 17-го века встречаются записи владельцев поместий: «Московский князь Дурак Мишулин», или «одноворец Дурак Засекин». Кто такой наш сказочный «Иван-дурак»? Нормальный русский человек, просто у него два имёни — христианское и языческое. Ведь как было? Когда пришло православие, попы долго выбивали из наших предков языческий дух, в том числе привычку называть детей по-старому. Например, хотел крестьянин назвать второго сына «Дураком», а поп ему говорит: «Христос отнимет разум у сына твоего за неправильное название. Не впадай в грех непослушания, лучше назовём его в честь одного из апостолов». И спрашивает отца ребёнка: «Когда у тебя родился сын?» Тот отвечает: «Намедни». «А-а-а, — говорит поп, — понятно: мы тогда в храме возносили молитву святому апостолу Петру. В честь его и назовём твоего сына — Петром». Так мы перестали носить древнеславянские имена. Остались разве что: «Святослав», «Станислав», «Олег», «Ольга», «Никита» и ещё кое-какие.

— Познания у тебя, Митроша, профессорские, с тобой не соскучишься. Значит, книжки тебя удерживают от шатания по российским просторам? Вот и расскажи, в чём был смысл твоей беготни, всё одно пока нет ничего хорошего по те-

леку — одни убийства и расследования. И про богатеев надоело смотреть.

Иван Дмитриевич выключил телевизор.

— Никакого смысла не было, — решительно заявил Митроха. — Судьба так сложилась — против неё не попрёшь. Грех родовой на мне сказался. Дед и прадед годами семей не видели — отхожими промыслами занимались, правда, папаша мой городским случайно стал — художественное училище окончил, но к городу так и не прилип. Стал куролесить по деревням, жён менять... Меня родил от последней жены, на ней и остановился. Детей по его линии кое-каких я знал, да забыл. Лицо своей матери, слава богу, помню...

И Митроха осенил лоб пальцами быстро и неумело.

Митроха — это всего лишь курносый нос и острые бледно-синие глаза, остальное заросло седыми путаными волосами, они же торчат у него на груди из-под байковой клетчатой рубахи. Штаны на нём — спортивные с лампасами. На ногах чистые грубо вязаные носки. В целом, смотрится не хуже местных стариков, правда, если его хорошенько подстричь.

— У меня машинка хорошая, давай прямо сейчас тебя подстригу, приведу твою голову в порядок, нельзя же так зарастать! — однажды накинулся

на него Иван Дмитриевич. — Неужели нравится ходить в таком виде?

— Отстань, Дмитрич, народ мудрее нас был: предки говорили, что в день Страшного суда за каждый волосок придётся отчитываться... Ты, поди, забыл, что волосы служат в качестве приёмника. Это же наша связь с Космосом!.. На Руси всегда бережно относились к волосам, старались реже стричься, говорили: «Борода дороже головы». Дёрнуть за бороду или за усы считалось тяжким оскорблением. Волосы никому не мешали, это теперь пошла дурная мода — ходить с недобритой рожей — «как у телушки на макушке», на лезвиях экономят. Мужик должен быть мужиком, а борода — бородой.

— Не хочешь?.. Ну и ходи, как неандерталец! У тебя на всё свои истории, легенды, доказательства, а передо мною ты — заросший факт!

Иван Дмитриевич вспомнил: недавно его даже похвалил: «Молодец, Митроша, не только пьёшь, но книжки читаешь, умно и складно говоришь». На что тот признался хвастливо: «Время на чтение у меня хватало, хоть и ночевал, где придётся, даже прятался в люках коллекторов. Я — человек свободный, мне никто ничего не должен, и я никому ничем не обязан. Это у вас долги и обязательства».

Теперь, оказывается, фермер книжки привозит ему. Ну и ну! Даже смягчился к Слепцову.

— Матушка моя, Царство ей небесное, — продолжал Митроха, — была кротким существом, как бы тронутая умом, — мужу ни в чём не перечила, к его бывшим жёнам не ревновала, а он к ним частенько бегал. Детишек, что наплодил, без внимания не оставлял, материально поддерживал. Дома мамаша его редко видела, он всё больше по сёлам и деревням разъезжал с бригадой оформителей. Классно обновлял в колхозах наглядную агитацию. А как же? Любое хозяйство считало необходимым отразить свои достижения в слове и цифре. Тут тебе и «Доска почёта», и «Показатели хода соцсоревнования между бригадами», и «Наши успехи» — по зерну, молоку и мясу. Или, например: «Решение съезда КПСС в жизнь!». Бригада дорожила своей репутацией, работала без халтуры. Хорошо платили им, но деньги у папаша не держались — часть раздавал бывшим жёнам, часть пропивал с друзьями. Кое-что и нам доставалось. Когда я подрос, он меня брал с собою, хотел приучить к своему ремеслу, но не смог — с детства я был неусидчив, убегал играть к ровесникам. Вот так, Дмитрич, привык я к смене мест, новым впечатлениям. Я же по своей натуре созерцатель. Каждый год до сентября шалопайствовал...

— Об этом я уже слышал, оставь, — прерывает его Иван Дмитриевич. — Лучше скажи, почему

тебя не посадили в советские времена за тунеядство? Как ты умудрился после смерти родителей проворонить квартиру? Ведь она перешла к государству.

Митроха смотрел-смотрел на него и вдруг свалился с дивана в судорогах и корчах, глухо ударившись о пол, закатил глаза, язык — набок, начал сучить ногами, на губах появилась пена...

— О господи! — вырвалось у пенсионера. Он вскочил с табурета, кинулся к телефону, ещё не понимая, что никакая скорая помощь сюда не доберётся. И тут Митроха быстро встал и с хитрой улыбкой остановил его:

— Спасибо, Дмитрич, за заботу, никакая помощь не нужна. Ты — попался!

— Чтоб тебя кошки съели! — неподдельно вскричал тот. — Разве можно так шутить?

— Сам спросил про тунеядство. Кто же больного человека станет преследовать и сажать? Этот фокус меня выручал в самых трудных обстоятельствах, — Продолжая улыбаться, Митроха сел на прежнее место. — Квартиру я упустил по простой причине: не был тогда в родном городе, и случайно узнал о смерти родителей. Поздно спохватился, не мог ничего сделать, жил без паспорта, бегал от алиментов. И слух пошёл, что я попал в психбольницу.

— И там побывал?

— Мог, но не довелось. Ты же видел мой фокус! — похвастался он, и добавил: — Несладко жилось мне в Союзе — гонялась за мной милиция, как за зайцем гончие псы, не давая покоя. И стал я стороной обходить городские рынки и вокзалы, больше старался пристроиться к каким-нибудь хорошим людям, чтоб помочь им огороды копать, колодцы рыть, заборы ставить и прочее — за похлёбку и ночлег. К людям глаз надо иметь, чтоб расположить к себе. Учёные попадались, музыканты, литераторы. Дачи у них требовали ухода...

— И обворовывал благодетелей, — усмехнувшись, вставил бывший пилот.

— Воровством занимался крайне редко — по большой нужде. За мной ничего серьёзного не числилось, но я всегда чувствовал близкое дыхание гончих. В те времена на труде все словно помещались. Труд обожествлялся. Если кто не работал на общество, то сразу возникал вопрос: «Что за птица и откуда?» Труд прославлялся, о нём поэты стихи сочиняли, композиторы создавали мелодии. Песни по радио звучали с утра...

— Правильно, а ты в это время бездельничал, бегал от алиментов, хотя мог любую специальность получить и работать, как все нормальные люди. Что, неправда? — устыдил его Иван Дмитриевич.

— Дмитрич, ты абсолютно прав, не спорю, только пойми: я — это особый случай. Дело не в алиментах... Понимаешь, я с юных лет не терпел никакой власти над собой, часто задумывался о смысле человеческого существования на Земле... Кстати, Земля — это название условное, на самом деле она — Вода, земляной поверхности на ней — раз-два и обчёлся! Даже почва на одну пятую состоит из воды. Я тебе как-нибудь расскажу много интересного о ней, но потом, ты дальше слушай. Так вот, особенно меня расстраивало отсутствие в Мироздании хоть чего-нибудь постоянного и неизменного. Звёзды и те не вечные! «Как же так? — думал я. — Зачем строились египетские пирамиды, если они за три тысячелетия успели утратить свой великолепный первоначальный вид — стоят обворованные, обшарпанные... Ничего нет устойчивого, всё сдувается ветром времён». Взбрехали и другие вопросы — сначала в школе, потом в армии. И решил походить, поездить, полетать по стране. «Хороша страна моя родная...» Она тогда трудилась и действительно была хороша в этом смысле. Она пела хорошие песни. Я ездил и созерцал несокрушимый союз республик. И походил, и покатался — ого-го! Сам знаешь, как легко перемещались тогда люди по стране. Я любил свободу, а в мозгах моих не возникало и мысли о чьём-либо праве принуждать меня к труду и гоняться за мной...

— Погоди, — остановил его Иван Дмитриевич, — ты сказал что-то про армию, значит, служил?

— Отдал долг Родине, не сомневайся, иначе как бы я мог жениться после дембеля?

— Одно другому не противоречит!

— За логикой следи, Дмитрич: Маша-одноклассница обещала выйти за меня после армии, дошло?

— Набирай дальше высоту.

— Выше не возьму, служба — мой предел. Что об армии говорить? Вначале не ладилось: из наряда — в наряд, с «губы» — на «губу», и опять на кухню. Не любил я команды «Равняйся!», «Смирно!» и прочие насильственные требования. Однажды начальник по тылу, майор Славский, увидев мой безвылазный честный труд на кухне, перевёл меня к себе в хозчасть ухаживать за свиньями — было у нас такое подсобное хозяйство. Не потушил майор, я ефрейтором закончил службу. Зря после свадьбы Маша пришла к выводу, что я враг труду и семейному счастью. Настояла на разводе. Пришлось сбросить брачные вериги, и тут же был дан старт бегу гончих за зайцем. И пошёл я делать «петли» от Бреста до Владивостока, от Салехарда до Ашхабада. Свобода была для меня дороже семейных чувств, дороже любви к близким, и тем более — к государству. Так шли годы, и что-то стало резко меняться в стране. И вдруг — трах-бабах! —



страна грохнулась на московском асфальте, и распалась на части. Делай, что хочешь — до тебя никому дела нет. Первоначально я даже обрадовался развалу великой страны. К власти пришли демократы — самые что ни на есть горластые. Тут и успокоились гончие псы — им стало не до зайцев. Возликовал я, задышал полной грудью, и решил найти себе занятие по душе в Орле. Приехал, но недолго радовался. Свобода оказалась жестокой по отношению к человеку, власть взяли бездельники с огромными деньгами. Они оплевали прошлое, осмеяли коллективный труд, извратили вековые смыслы, пустили по миру миллионы людей, лишив их национальности, а сами стали жировать. Дмитрич, на твоих глазах это происходило, а ты на самолётах в небеса поднимался и модели самолётиков мастерил вечерами... Как я тебя уел, а? То-то. Да, я — бездельник, а вы все — предатели своей великой идеи. Я в этом отношении чист. Скажи, что случилось, например, с твоим Аэрофлотом?

— Митроша, или как тебя там по отцу величали?

— Папаша мой — Кондрат!

— Значит, Митрофан Кондратьевич...

— Не надо папашу сюда, я был и есть Митроха — беспаспортный бомж!

— Ну хорошо, Митроха так Митроха. Вот, что скажу тебе, философ-созерцатель. Согласен,

жизнь устроена плохо, но другой нет, и не будет, разве что — на небесах. Здесь же, на Земле или Воде, как ты говоришь, надо что-то уметь делать руками и головой — делать хорошо и сообща. У тебя в голове хаос происходит, душа волосьями обросла. Читал, наверное, о первоначальном космическом Хаосе, из которого появился Свет?

— Есть такое предположение, — вяло буркнул Митроха, — и что?

— Из твоего хаоса в голове свет пока не льётся.

— Тогда повод есть — выпить за мороз и сочельник, и пусть будет свет! Ты же обещал раскупорить бутылку, что в чулан унёс вчера.

— Ладно, хрен с тобой, — согласился Иван Дмитриевич, — давай выпьем, раз обещал. Выпьем за мороз, можно и за Крещение. И будем смотреть репортажи с рек и озёр, где чудаки лезут в проруби...

Через час Иван Дмитриевич горячо доказывал гостю, что самая красивая работа — желание летать. И широко расставив руки, напевал:

*И солнце нам светит и звёзды,  
по курсу то снег, то дожди,  
и небо тревожно и грозно,  
когда ураган впереди.*

Потом обнаружил, что бутылка пуста, а желание летать усилилось, и он спросил:

— Митроша, что будем делать?

— К Акулихе пошли! — брякнул тот первое, что попало на ум.

— Вылет отменяется. Она стряпает — готовится к встрече племянника. Думай дальше.

Бомж запустил в волосы пятерню, почесал макушку, поднял вверх указательный палец:

— Идея!.. В сарае у Панкратыча мыши прогрызли меха гармошки. Бери клей «Момент» и топаем к нему, будем устранять дырки. Лучшего варианта не придумать.

И вот уже бомж и отставной лётчик по крутому откосу карабкаются вверх, цепляясь руками за мёрзлые ветки низкорослого раkitника. Когда друзья преодолели подъём, их лаем встретила лохматая собака, отбрасывая задними лапами снег. На лай вышел Панкратович, признал пришельцев и повёл их в избу. Из чулана показалась ушастая голова Руськи. Заяц бодро пошёл обнюхивать Митроху...

Пора осмотреться, пока Панкратович встречает гостей. Так вот, если встать на крыльцо его избы, то можно увидеть вдали тёмный ряд прибрежного раkitника и угадать, куда с поворота уходит Неручь. Заметить крышу избы Акулихи, угол жи-

лица тёщи Ивана Дмитриевича. А вот двор Слепцова не разглядеть — закрыл сарай Панкратовича, куда он вскоре зашёл и вышел с гармошкой-ливенкой — понёс её в дом для починки.

Как гости латали меха гармони — дело прозаическое, гораздо интереснее услышать вскоре лирические звуки этого старинного инструмента. Они всё набирали и набирали силу, волнами теснили бревенчатые рёбра избы, а когда им совсем стало невмоготу, дверь широко распахнулась с ноги Панкратовича, и он с ливенкой в руках начал распевать свою любимую песню: «Раскинулось море широко, и волны бушует вдали, товарищ мы едем далёко, подальше от нашей земли»...

И действительно, вокруг простиралась необъятное море русской равнины, застывшее белыми волнами сугробов. Бог знает, что творилось в душе бывшего моряка Тихоокеанского флота. Скорее всего, его тянуло пуститься в плавание, тем более что метель стихла, сумерки загустели, и вдали одинокие маяки окон манили к себе. Ещё латая меха гармони, гости поняли состояние бывшего матроса и решили ещё шире расправить крылья, подняться выше обыденности. Распевая знакомую многим поколениям песню, троица резво спустилась с бугра и по глубокому снегу направилась в сторону быв-

шего колхозного клуба, наглухо заколоченного доскам.

\* \* \*

Пока мужская компания идёт в правильном направлении, надо успеть сказать кое-что и о некоторых местных женщинах. Неподалёку от закрытого клуба жили две пенсионерки: Марья Яковлевна — бывшая учительница, и Полина Петровна — в прошлом колхозный бригадир. Обе одинокие, но в летнее время таковыми себя не чувствуют, поскольку из города к ним приезжают то дети, то внуки. Весело и шумно во дворах их в эту пору. Зимой — никого, и ходят они в гости друг к другу. Накануне Рождества провели Акулину Васильевну, а в крещенский сочельник пришли к старушке-подружке — Нине Ивановне, чтобы напечь пирожков с вареньем. Она раньше заведовала клубом, к Богу тогда относилась равнодушно, а чем ближе к пенсии, тем ближе стала воспринимать Христа. Совсем открылся ей Господь, когда Россию возглавил Владимир Владимирович Путин. Так, во всяком случае, однажды сказал Панкратович бывшему пилоту.

Нина Ивановна раньше за крещенской водой ходила в поселковую церковь или добиралась в Орёл автобусом — до храма Михаила архангела.

Теперь состарилась, сокрушается, что останется без святой воды.

Полина Петровна ей говорит:

— Ниночка, мы тебе воды утром наберём. На Крещение везде вода святая: можем принести из колодца, можем — из проруби, какая тебе разница?

— Как-то не то, — возражает старушка, спустив ноги с кровати у стола. — Другое дело, когда к храму народ собирается, ждёт выхода батюшки; там и свечку поставить можно, и помолиться среди народа. Сообща молитва быстрее доходит до Бога. Легче бывает на душе, а вы мне воду принесёте из колодца и всё?

— Сама видишь, сколько снега навалило, некому дорогу чистить. Мы с Марией Яковлевной уважаем праздники, но сами-то — какие верующие? Так, стараемся что-то понять... Ты извини, но одно дело в церковь ходить, а другое — жить по Христу. Вот ты сказала: «воду принесёте и всё?» А чего ещё-то? Помолись, свечку поставь, мы с тобой постоим, вспомним родителей, можем по стопочке выпить, поплакать. Нас в деревне осталось восемь бабок и четыре деда. Посчитай и тех, что на бугре и внизу живут. Два десятка не наберётся зимой, а раньше деревня была — гул не смолкал! На тракторах к клубу подъезжали прямо с поля. Помнишь, как танцевали? Гармошка допоздна

играла. Сергей Панкратович с ней не расставался, даже в кабине возил.

— Интересным был Серёжа, — заулыбалась Нина Ивановна — я всегда тельняшку чинила, когда ему перепадало за девчат. Заводной был, отчаянный, а как Зину свою схоронил, сразу одичал, усох, сгорбатился. Что годы делают с людьми? Теперь, говорят люди, собаку на зайца променял. Чем живёт? Продаст мёд — и весь заработок. Как всё переменялось, народ не тот, поскущел народ-то... Ну и время!

— Не только время, — остановила её Мария Яковлевна, — мы сами хороши. Привыкли перестраиваться воле других людей, не всегда порядочных. Москва заварилась кашу, а мы её хлёбаем до сих пор. О нас ли там думали? Нет, о себе любимых. Митинговали, бурлили речами, с милицией дрались на площадях столицы. У нас было тихо. Мы смотрели по телевизору столичную заваруху, ждали, что выйдем. Вышло то же, что было в 17-м году, когда две революции происходили. В Петрограде гремело, а здесь аукалось муками и кровью. Я уже никому не верю!

— Христу надо верить и совести своей, — решительно сказала Нина Ивановна и встала с кровати. — Ты хоть и грамотная, а не дошла до веры. Предки наши ею жили, из всех бед выходили, войну вон какую вытерпели...

— Нинка, ты опять коммунистов будешь обвинять? — перебила её вопросом Полина Петровна, взглянув строго.

— Нет, Поля, не буду, коль уж Акулина Васильевна плохо о них не отзывается. Она мне ума прибавила. «Дитяtko моё, — говорит, — запомни, всякие коммунисты были: настоящие и притворные. Ныне притворные сделали перевес в свою пользу». Я словам её верю, она с моей мамой дружила ещё с довоенной поры, неразлучными были, даже в один год свадьбы справили. Потом война пришла, и нас, детишек, прятали по подвалам, а как немцев прогнали, вместе колхоз восстанавливали. Это теперь её прозывают бабкой Акулихой. Мало кто помнит: после войны она избиралась председателем колхоза, почётом пользовалась в деревне. Правда, недолго — куда ж без грамоты? У неё четыре класса образования, а тут фронтовики стали подходить. Из мужиков, может, ещё Сергей Панкратович тому свидетель, а ты, Полина, совсем дитём была, а Мария в городе училась, потом чурались наших плясок у клуба и за околицей. Понятное дело — учительница, а мы народ простой, нам такое по душе...

— Ой, Нина Ивановна, ну что вы такое говорите? «Чурались»... У меня всё свободное время забирали тетрадки, я даже завидовала вам, когда



слышала смех и частушки, — оправдывалась Мария Яковлевна, раскатывая на столе тесто деревянной каталкой.

Вдруг она насторожилась, прислушалась:

— Вроде, гармошка играет?

— Ой, и я слышу! — потянулась к окну хозяйка дома. — Думала, мерещится. Глянь-глянь, Поля, ты поглазастее меня, неужто и впрямь кто-то гармонь растянул?

Полина Петровна прильнула к окну, поскребла ногтём стекло, оттопила наледь и разглядела фигуру Панкратовича, изогнутую знаком вопроса. Рядом шагал коренастый Митроха, и сухощавый Иван Дмитриевич. Весёлая тройца остановилась напротив светящего окна Нины Ивановны. Панкратович, чувствуя, что его разглядывают, бодро прошёлся пальцами по кнопкам ливенки, а Митроха шутовски затынул, где-то услышанную им на юге курортную песенку:

— Алеет восток, гастроном недалёк, мы пойдём в магазин на троих сообразим.

И все трое подхватили припев:

— Дай на маленькую! Дай на маленькую!  
На большую не прошу, дай на маленькую!

И опять Митроха:

— У меня есть два рубля, у него есть два рубля, нам ещё бы пять рублей, жить бы стало веселей.

И дружно все потребовали:

— Дай на маленькую! Дай на маленькую!  
На большую не прошу, дай на маленькую!

Слова плохо слышались, но поняла хозяйка: это Сергей Панкратович надумил приятелей направить стопы к её избе. Она засуетилась, не зная, что делать. Полина Петровна пришла ей на помощь:

— Ниночка, мужик без женщины, что собака без блох: жить можно, но скучно, а женщина без мужика, что блоха без собаки: жить можно, но кусать некого!

— Чем кусать-то? — отозвалась Нина Ивановна. — Выпали зубы-то. Мужики, поди, выпить хотят, а я это дело не держу, — и с грустью добавила: — Разыгрались бесы, а вынести нечего. Нешто, вишнёвкой угостить? Ну, той, что вы принесли... Выйди, Поля, к ним, предложи...

Не будет Полина Петровна возиться с вишнёвкой, разве не знает, что мужикам требуется? Вышла, кивнула троице и наклонилась к Панкратовичу:

— Серёжа, я щас, мигом! Только эту дурь прекрати. Наигрывай наши, частушечные, но без матерка. Нинка, сам знаешь, церковная, на это нервничает. Ну, я побежала ...

Воротилась она быстро с самогонкой, следом подошли два старика в сопровождении пяти своих ровесниц. Явились ли на звуки гармошки или их утянула за собой Полина Петровна, гадать нет

смысла, всё равно к самогонке они не притронулись — прошли их золотые времена. Им бы гармонь Сергея-морячка послушать, и пусть не поплясать — хотя бы снежок потопать валенками, может, в последний раз... Не может же русский человек, как немец, замкнуться в себе, не выходить вечером из дома. Без общения русский человек перестаёт уважать себя, даже боль свою и беды старается вынести наружу — как бы на обсуждение. Да и потаённые желания долго не держит в себе.

Полина Петровна чуть пригубила самодельную водку, губы обтёрла и запела:

*Разверни-ка гармошку, дружок,  
Веселее играй и подольше.  
Полдеревни придёт на лужок  
За околицу — бить подошвы.  
Берегись ты чужого огня —  
Быстро гаснет — себе дорожке...  
Не забудь пригласить меня,  
Когда Нина уйдёт, Серёжа.*

Сергей Панкратович понимающе кивнул и шире развернул гармонь. Задвигались живые тени на снегу. Бабка Степанида, что пришла с Полиной Петровной, вдруг затянула пронзительным голосом, вспомнив что-то своё:

*Я любила сердце тешить,  
За деревню выбегать.  
Все кусточки зеленеют,  
А залётки не видать.*

Тут же её соседка отозвалась:

*За деревнею быки  
На коров кидаются,  
А в деревне мужики  
Пьяными валяются.*

Дед, что пришёл с ней, такое не стерпел, ответил хрипло частушкой:

*У моей милашки ляжки  
Сорок восемь десятин.  
Без штанов и без рубашки  
Обрабатывал один.*

— Матвеевич, — строго одёрнула его Полина Петровна, — Нина Ивановна сейчас выйдет, тебе не поздоровиться, прекрати немедля!

— Ишшо одну для Нинки твоей, и всё! — пообещал он:

*Гармонист, гармонист,  
Положи меня под низ!  
А я встану, погляжу:  
Хорошо ли я лежу?*

Бабка Стенанида пошла ногами утрамбовывать снег, приговаривая:

*Говорят, что я старуха,  
Только мне не верится.  
Посмотрите на меня:  
Во мне всё шевелится.*

Тут Нина Ивановна стала спускаться с крыльца, и Сергей Панкратович заиграл «Прощание славянки», зная, что она любит эту мелодию. И попал в точку.

— Ой, спасибо, Серёжа, тронул моё сердце. Я, признаться, уже и не думала увидеть тебя с гармошкой. Да и сама давно отошла от мирских игрищ, а заиграл ты, не утерпела, дай, думаю, выйду, посмотрю, кто это взбодрить нас пришёл. Ты играй, играй, повесели людей. Пока гармошка жива, то и деревня жива, а не будет её, считай, что и нас нет. Это Господь сподвиг тебя прийти в сочельник. Играй, Серёжа, я послушаю, и подожду Марию Яковлевну, она пирожков напечёт и вынесет нам — горяченьких. Всё одно вы, нехристи, не угомонитесь...

И Панкратович не заставил себя ждать. Он до её прихода уже приложился к самогонке из ловких рук Полины Петровны, потом она подкрепила Митроху и Ивана Дмитриевича,

после чего бывший бомж пропел частушку про лётчика:

*Лётчик любит стюардессу,  
С нею тесно он знаком:  
Классно под его началом,  
Ещё лучше — под концом.*

Иван Дмитриевич нашёл, чем ответить:

*Старый бомж уснул под ёлкой  
В нашем парке городском.  
На лице его иголки,  
На макушке снежный ком.*

Раздался смех. Самогонки выпили всего-то чуть-чуть, а хорошо им сделалось, и мороза будто нет.

В общем, повеселились, взбодрил Панкратович одиноких жителей почти умирающей деревни.

\* \* \*

Зимой время летит быстрее самолёта, оглянуться не успеешь, как уже лукаво заглядывает в окно весеннее солнышко. Вышел во двор Иван Дмитриевич, шурится, подставив лицо тёплым лучам. Видит он: бугор Панкратовича подсох, зазеленел, ракитник покрылся изумрудными пушистыми шариками, грачи хрипло дерут глотки. Постоял,

прошёлся — чавкает под ногами снежный кисель, ручейки светлыми змейками потянулись к Неручи. И он с радостью отметил: оживает земля, кончилась зимняя спячка.

Вслед за ним вышел во двор и Митроха. Он заметно помолодел после того, как Иван Дмитриевич собственноручно подстриг его накануне смерти тёщи. Тёща умерла через неделю после Крещения. И ещё одно, но уже трагическое событие произошло через месяц.

Однажды приехал из города Слепцов с Ильёй — угрюмым рослым парнем, и сразу же из каких-то своих соображений прогнал на все четыре стороны Митроху. На его место поставил этого — привезённого угрюма. Зачем он так поступил вероломно, неизвестно. Жалко стало Ивану Дмитриевичу бомжа-философа и он пригласил его к себе пожить, решив, что вместе легче переносить однообразные дни, тем более, что тот согласился присмотреть за избой, когда он уезжал на похороны тёщи. Иван Дмитриевич больше недели отсутствовал, очень боялся, что Митроха, лишившись работы у Слепцова, уйдёт бродяжничать, да и жена, схоронив мать, настоятельно просила его вернуться в деревню, пообещав, что как только оформит пенсию, приедет в родительское гнездо навсегда. Город ей опостыл. У неё возникла какая-то сказочная, детская мечта о жизни в деревне. Он и вернулся, узнав, что за

время его отсутствия тот самый Илья — привозной парень, поссорился с фермером и убил его. Дело было при двух случайных свидетелях, тоже приехавших на внедорожнике с хозяином. Что и как произошло, знают только следователи. В деревне лишь говорили: «Зря Ромка прогнал со двора Митроху, живой был бы, а не лежал в земле».

Вскоре приехала в деревню Катерина — та самая, что когда-то устроила бомжа работать у брата. Она просто умоляла его вернуться на прежнее место, чтобы уже ей, наследнице фермерского хозяйства, помогал он управляться с делами.

— Даже не представляю, что мне делать без твоей помощи, — стонала она. — Лошадь надо кормить, гусят инкубаторских закупать, дом брошен, документы на него не оформлены... Выручай, я в долгу не останусь, буду привозить тебе всё, как брат привозил, голодать не будешь... Выручай, Митроша, я замоталась с торговлей: то в Москву езжу, то в Иваново за тканями. Не управляюсь...

— За Дамку не беспокойся, — сочувственно отозвался он. — Я её навещаю, кормлю, вывожу. Ей предстоит огороды пахать, Панкратович первый в очереди, следом бабка Акулиха... С Дамкой всё понятно, а вот как выручить тебя — подумать надо. Мне же, Катюша, шестьдесят три года, здоровье уходит, легко ли с гусиным царством справляться? И брат твой не железный был...



— Пенсию получаешь? — внезапно задала она вопрос.

— Какая пенсия? Я ж нигде не работал.

— Это ничего не значит! — отрубил Катерина. — Положено давать после шестидесяти лет всем мужчинам. Хоть небольшую, но дают. Ты что, не знал?

— Я не являюсь гражданином — ни России, ни какой другой страны. Я — ничей, и в одном экземпляре...

— Подожди, — задумалась Катерина, — у тебя действительно нет паспорта?

— Потерян давно. Обхожусь, как видишь.

— Тогда запросы надо делать, справки собирать и другие бумаги... И потом, головушка ты моя, пойми: придёт время умирать — как тебя хоронить? Ты — никто, нигде не числишься. Отвезут в морг и будешь лежать до выяснения — что с тобой делать? Нравится такая перспектива? Господи, что за люди такие, беззаботные?.. Давай так: начинай работать у меня, а я буду узнавать, как тебя восстановить. Слушай, может, какие родственники у тебя в городе остались?

— С сестрой Леной, что от второй папашиной жены, я встречался несколько раз, она моложе меня, всё интересовалась, где живу и что делаю? — улыбнулся Митроха. — Других знать не знаю и знать не хочу!

— При случае разыщем, — пообещала Катерина. — Ты забери у меня сумки продуктовые, бельё постельное, что привезла тебе. Хватит беспокоить Ивана Дмитриевича, к нему жена должна приехать. Хорошо ли у них под ногами путаться? Короче, дорогой мой, давай работать. Ты поможешь мне, потом я — тебе.

Митроха промолчал, понимая, в какое сложное положение она попала. К тому же помнил её долготу. Это она заприметила его тогда на рынке, когда он ходил-шатался между ларьками в поисках пропитания. Она быстро пристроила его к подругам на разгрузочно-погрузочные работы, потом привезла к брату. За три года привык он к чужому хозяйству и не мог понять, за что его прогнал этот липовый фермер?

Этот разговор тогда был в присутствии Ивана Дмитриевича.

Теперь он стоял и вглядывался в небо, услышав в синеве звящего жаворонка, потом обратился к Митрохе с вопросом:

- На какой высоте поёт жаворонок?
- Видится точкой, думаю, метров триста.
- Почти угадал, — заулыбался бывший лётчик, — в два раза меньше. Знаешь, к чему говорю?
- Крылья почувствовал за спиной?
- Угадал. Когда я был в Орле, встретился с очень интересным москвичом, моим старым знакомым.

Он мне рассказал: американцы здорово продвинулись в практическом применении беспилотных летательных аппаратов. У нас об этом знают пока только специалисты, но скоро эти беспилотные аппараты себя покажут. Их называют «дронами». Американцы уже практически используют дроны, а мы опять ушами хлопаем.

— Ты хоть объясни, зачем нужны эти хреновины.

— Что такое компьютер, мобильный телефон, знаешь?

— Приходилось играть в «стрелялки» на компьютере, и мобильник держал в руках, — похвалился Митроха. — Так это ж пять лет прошло. Сегодня компьютеры имеют в городе только крупные организации и богатые фирмы. Ты думаешь, я совсем ничего не соображаю?.. Мне один подполковник показал, как «мышью» водить, когда мы с ним в «стрелялки» играли, и я его...

— Про «стрелялки» потом, — остановил его Иван Дмитриевич, — дроны дело серьёзное. Представь себе: не жаворонок висит в небе, а небольшой вертолётик-самолётик на высоте ста метров и фотографирует поле, а ты дома за столом перед экраном видишь всё, что он снимает: где посевы хорошо перезимовали, а где подмёрзли. Дрон потом спускается ниже и даёт картинку, облетая участок за участком, и всё — на твоём экране. Не надо выезжать в поле, ходить и осматривать зеленыя.

Дрон полетал и в нужное время сам опустится к тебе на порог. В него заложили определённую программу, что и как надо делать. Весной и летом может следить за ходом сева, недосева, пересева, может осматривать состояние пастбищ, смотреть, как идёт подкормка посевов или уборка урожая. Может доставить почту через речку, через бездорожье. Дрон всё может. Это же экономия затрат! Настолько перспективная технология, что многие даже не представляют.

— Скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается! Могзами наделён, что ли, дрон твой? Так не бывает, — засомневался Митроха.

— Вместо мозгов у него гироскоп, чтобы знать в какую сторону направляться, есть ещё датчик — акселерометр для определения скорости и направления движения, есть и навигатор, чтобы понимал бы, где находится. Имеется микропроцессор, в общем, в него заложены всё новейшие достижения современной науки. Энергоснабжение обеспечивают небольшие по объёму и весу батареи. Я просто заболел дронами после того, что о них услышал. Я тебя недаром про компьютер и мобильник спросил. Принципы работы у них схожие, многие детали годятся для создания беспилотника. Теперь буду конструировать только его, и уже заказал необходимые части и детали. Меня проконсультировали в общих чертах, как это делается. Буду

создавать беспилотник, а свою летательную трещотку на бензине заброшу, как пройденный этап. С практическим внедрением дронов до неузнаваемости изменится наша жизнь. Представляешь, как это перспективно и интересно?

— Представляю, например, Катерина — хозяйка моя, у себя в квартире будет смотреть на экране, как плавают гуси по Неручи, и где в это время я нахожусь. Ей — благо, а мне? Захочет, и с помощью дрона возьмёт и сбросит мне на голову кирпич!

— Не пори чепухи, сам знаешь, что Катюша добрая, измоталась, правда... Нет, ты слушай, дроны — это новая эпоха! — восторженно продолжал своё бывший лётчик, пока не прервал его Митроха крылатым некрасовским выражением:

— «Жаль только — жить в эту пору прекрасную уж не придётся — ни мне, ни тебе».

— А мы будем жить из любопытства! — не сдавался Иван Дмитриевич.

— Тут не возразишь, — согласился бомж, — особенно с приходом весны.

Долго потом стоял он, теребя на ветерке подстриженную бороду, щурясь на солнце, встающее над речкой, и смотрел вдаль, а там, за Неручью, среди широко раскинутых полей агрохолдинга, на проталинах уже зеленели озимые. Он вглядывался и вглядывался в них, замечая нечто такое,

что оттесняло его философское «ничто» за пределы горизонта. И подумал: «Прав Дмитрич, в этой жизни надо уметь что-то делать хорошее, может, даже... за чужими гусями ухаживать». И в первый раз в жизни искренно рассмеялся.

## ДИМКИНА ШКОЛА

Димка не спешит делать домашнее задание, склонился над чистым тетрадным листом и лениво рассматривает образцы прописи, сделанные рукой учительницы. Для него чистописание — мучение. Он уже и пёрышко обмакнул в чернильницу-«непроливайку», держит руку на весу, а первую букву вывести не торопится. Ручка деревянная, светло-синяя с железной окантовкой, куда вставляются стальные ученические номерные перья. Сидит, раздумывает. Для чистописания требуются перья только номеров одиннадцать или восемьдесят шесть. Егорка пишет одиннадцатым, на узкой шейке которого выдавлена пятиконечная звезда, перо так и называется «звёздочкой». У неё на широком месте имеется прорезь, она переходит в длинный носик, разрезанный пополам. Димка всё разглядывает и разглядывает пёрышко. Если нажать на носик, то он раздвинется, а если не нажимать, то смотрится как целый. Он в прошлом году не одно перо сломал, изучая упругость и прочность

его. И наигрался вдоволь «звёздочкой» с приятелями, переворачивая перо, как майского жука. Забавная игра в пёрышки и очень простая. Надо на подоконнике расположиться вдвоём, вытащить несколько штук из пачки, а в пачке сто штук, положить одно — «звёздочкой» вверх. Это твоё перо, приятель должен его с первого раза перевернуть. Делается так: он своим пёрышком легонько тюкает по овальному концу лежащего пёрышка. Если сразу перевернул, то забирает его себе, а тебе приходится вынимать из коробки другое. Если перевернёт и его — выставляй третье, и так до тех пор, пока везёт, а как не сумеет справиться, то наступает твоя очередь. Тут нужна тренировка, чтобы не остаться с пустой коробкой. Димка редко кому проигрывал.

Теперь повзрослел, в пёрышки не играет, знает их по именам: «уточка», «лягушка», «семечко», «пионер» — это для учеников средних классов. Старшеклассники пишут в основном перьями «рондо» и «мертвечик» с коротким носиком-шишечкой, иногда под перо прикручивают медные пружинки — от шейки пера до носика, чтоб долго держались чернила.

Известно: хороший почерк даётся только мягкими перьями. И цифры, и буквы должны выглядеть красиво, вот почему не спешит он с этим трудным делом — откладывает ручку и подходит



к трёхлинейной лампе, висящей на стене. Стекло закопчено, но он не станет протирать его бумагой, чтоб случайно не запачкать руки, а чуть поднимет фитиль. В доме зимой без лампы мрачно, окна маленькие, пол земляной. У отца не нашлось досок его доделать.

Не успел он прибавить свет, как вверх по стене пополз на ножках-ходулях паучок-круглячок. Димка проследил его путь до сумрачного угла над печкой. «Чем питается? — мелькнуло в его голове. — Мухи давно не летают, одни — посохли, другие впали в спячку, а этот всё бродит, ищет местечко, где бы устроиться». Он взглянул в окошко и затосковал. Во дворе ослепительно блеснул на солнце недавно выпавший снег. Деревья в саду стояли запушённые, с ветки на ветку прыгала синица, роняя снежную пыль. Ему захотелось взять санки и побежать на горку, где уже, наверное, катаются ребята, а он тут должен чистописанием заниматься.

Вздыхнул и опять склонился над тетрадью. Тетрадь у него в линейку с косыми линиями, чтобы нужный наклон букв соблюдать. Начал выводить первые буквы предложений: «Мама моет Машу. Папа рубит дрова. Бабушка доит корову. Дедушка ловит рыбу». Димка ставит на линию точку и начинает писать букву «М» — ведёт перо вверх без нажима, потом вниз — с нажимом. И так два-ж-

ды, потом делает крючок для соединения с буквой «а». И пошла линия против часовой стрелки с утолщением в средней части овала. Вышла и эта буква, потом — повтор и прочитал: «Мама». Сравнил с образцом и поморщился. Понял, рука была напряжена, заглавная буква получилась не совсем ровной от дрожания руки. Он смотрит на кончик пера, хватит ли чернила ещё на два слова, и продолжает работу. До «дедушки, что ловит рыбу» ещё далеко. Потом будет стараться написать чисто ещё несколько предложений, пока не зачесется переносица, а потом возникнет перед глазами ледяная крутая горка, по которой он лихо съезжает на «снегурках». Коньки его крепко привязаны к валенкам верёвками, морозный ветер бьёт в лицо, и он готов пронестись по речному льду до другого берега. Если бы не Ксюшины санки — так ударился об них, что шапка с головы слетела, носом стукнулся об лёд... Помнится, поднялся, а из носа — кровь, переносицу чуть не сломал. Ксюшу хотел отколотить, да она ж — девчонка. Что с ней связываться? Сама подбежала, испугалась, платочек суёт... Куда глядела? Я же орал сверху: «Эй, отойди!..»

Лёд теперь глубоко под снегом, каникулы позади, ребята на лыжи перешли, они у всех разные, редко у кого покупные, чаще — самодельные. Отец тоже над лыжами потрудился, сделал их

ему из двух дощечек: выстругал рубанком, концы распарил в кипятке, загнул накрепко, высушил и заострил. На скользкой стороне даже желобки узкой стамеской вывёл, ремень широкий приделал — бери, пробуй! Нормальные получились лыжи, не хуже покупных, ведь всё равно нет лыж в магазинах. Эх, сунул бы сейчас ноги в валенки, лыжи — в охашку и к ребятам! А тут — ручка с пёрышком, тетрадь...

Скоро старшая сестра Валя придёт, раскомандуется, а всего-то на два года старше его. «Тоже мне — командир!» — мысленно возмущается Димка. Начнёт просить: «Дай посмотрю тетрадь, мне мама поручила тебя проверить». Ничего она не поручала, сама захотела, чтоб потом сказать: «Ты опять написал пером, как курица — лапой!» Недовольная будет, да ещё матери расскажет, что без спроса на улицу ушёл.

Он уже склонился над тетрадью, чтобы продолжить писать, как вдруг вспомнил, что надо подбросить дрова в печку, как было велено. Открыл дверцу, заглянул в топку. Чурки ещё тлели, Димка пошуровал их кочергой — звёзды искр посыпались в поддувало. Вовремя вспомнил, огонь чуть не погас, и швырнул в зев топки несколько сухих обломков досок, подождал, пока они разгорятся, потом сверху из ведра сыпанул два совка угля-горошка. Всё, на два часа хватит.

Посмотрел на часы-ходики. Гирька на цепи далеко ушла вниз, подтянул её, а в это время из-под часов по шлаковой стене поползла мерзкая двухвостка. Димка поморщился, поспешил с ней разделаться — схватил ручку и вдавил в бронзовую спину насекомого кончик пёра, потом сбросил блестящий трупик на земляной пол. Оглядел перо безглаголиво и принялся чистить его промокашкой.

Ходики тикали, напоминая о времени, и он опять уселся за стол. Писал и писал, склоняя голову то в одну, то в другую сторону, порой от усердия высовывая язык. Димке показалось, что прошла вечность, прежде чем он оторвался от тетради. Радостно потёр руки — ура! — на этот раз не поставил ни одной кляксы.

За окном пробасил заводской гудок. Скоро отец придёт домой в мазутной фуфайке, в шапке-ушанке с опущенными ушками, он на фронте уши отморозил, теперь даже от лёгкого морозца прячет их. Придёт, снимет брезентовые рукавицы, повесит ватник на вешалку и примется в тазу долго мылом отмывать мозолистые руки. Свою шапку не скоро сбросит, так и будет в ней ходить — то в подвал за картошкой, то в сарай к поросёнку, потом будет ужин готовить. Мама позже его приходит. По ходу дела начнёт спрашивать: «Чем, сынок, занимался? Как твоя учёба?» Ответы не дослушивает, некогда ему. Тетради не про-

веряет, на Валу надеется, а та всегда найдёт, за что придраться.

Сумерки густеют, надо воды нагреть, отца дожидаться и сразу туда — на горку...

\* \* \*

Утром он идёт в школу с хорошим настроением, всё успел сделать: и домашнее задание выполнить, и с ребятами на горке накататься. Теперь шагает по пробитой в снегу тропинке через овраг в сторону железнодорожной станции. На ногах — валенки, на голове — кроличья шапка, на плечах — стёганка, в руке холщёвая серая сумка, стянутая шнурком. В сумке у него тетради, учебники и много чего другого: карандаши, ручка, перья, чернильница, ластики, промокашки... Сумка в чернильных пятнах, это он в прошлом году её нечаянно измазал. Не было тогда в магазинах чернильниц, пришлось пользоваться аптекарским пузырьком, куда наливали ему фиолетовых чернил, и приходилось затыкать горлышко его, чем придётся, пузырёк подтекал, чернила пачкали руки, тетради, сумку, одежду. Большинство учеников тоже ходили в школу с пузырьками, и только потом появились в продаже «непроливайки» из эбонита и фарфора, но и их затыкали пробками.

Тропинка выводит Димку на мостик, проложенный через овраг. Справа от тропинки стоят

огромные светло-серые баки нефтебазы, слева — сгоревший немецкий танк, его до сих пор ещё не вывезли на металлолом. Димка даже не смотрит в ту сторону, привык к его поникшему и обгорелому виду. Танк он давно излазил вдоль и поперёк, даже внутри побывал, он ему уже не интересен. Подошёл к дороге, стоит, раздумывает, как лучше пересечь, левым путём или правым? Если левым, то надо пройти мимо площадки с разным оборудованием, техникой, выгруженными из вагонов, и шагать дальше по рельсам к зданию вокзала, а на пути часто стоят длинные составы, придётся лазить под вагоны, искать проход. Правым путём — короче к школе, но для этого надо преодолеть бугор, обойти длинное складское помещение. Минуту-другую Димка стоял перед дорогой. По бурой от навоза снежной кашнице лошади тащили сани, катились грузовики. Внезапно он увидел трактор с прицепом, точнее сани-волокуши с большой бочкой. На краю саней сидел Сашка Сыроквасов и помахивал ему рукой, мол, не прозевай. Димка в два прыжка догнал бардовозку и присоединился к нему. Поехали, улыбаясь удаче. Путь к центру города вёл мимо нефтебазы, затем нырнул под пролёт железнодорожного моста и выводил на осевую улицу — Держинскую, а через три перекрёстка — улица Карла Маркса, на ней их школа. Трактор едет, чадно дымит, тянет за собой

бак вязких спиртовых отходов — барду. Тракторист почему-то выбрал окружной путь, хотя есть более короткая дорога. Димка с Сашкой сразу поняли, что он кому-то из родственников или знакомых часть барды слил, такое они замечали не раз. В зимнее время барда служит подкормкой для домашнего скота. Полгорода нуждаются в ней: горожане носят её на коромыслах, просто ведрами в руках, возят санками в бочонках...

Трактор качается, переваливается с бока на бок по рытвинам, поворачивает на Дзержинскую. В самом начале её за одноэтажным старым домом громко стучит крупорушка, выбрасывает вверх кольца дыма, работая на солярке. Крупорушку эту горожане называют по былой принадлежности — Зелепухинской мельницей, вокруг неё пустыри и разбитые войной коробки зданий. Их небольшой город разбит, по выражению взрослых, «как Сталинград», — сплошные улицы-руины. Сани-волокуши иногда ощутимо трясутся на яминах, но приятелям такая езда по душе, это что корабль по волнам. На углу улицы Шмидта волокуша вдруг дёрнулась, струя тёплой барды из открытой горловины бочки брызгами окатила ребят, пришлось соскакивать с прицепа, пешком идти и на ходу очищаться снегом, развеивать спиртовой запах.

Начальная школа располагалась в крепком одноэтажном доме на улице Карла Маркса. Дом

раньше принадлежал какому-то купцу, стены полуподвального помещения со сводчатым потолком имели железные скобы и крюки для подвески туш. Помимо полуподвала, где, кстати, тоже проходила учёба, в нём имелись две просторные комнаты с большими окнами, смотрящими на запад — через пустырь — в тыльную сторону двухэтажных коробок Ленинской улицы. Севернее из окон виделся ещё один пустырь, переходящий в базар, и Ямские слободы. Одна из комнат была проходной, через неё ходили в другую комнату — тупиковую. Эти комнаты и назывались классными помещениями. Была и учительская — небольшая комнатуха с дверями в проходной комнате, где было узкое окошко на восток с занавеской, стояла печь для обогрева помещений, имелся стол с двумя стульями, кровать. На стене висели полки с книгами и посудой, на полу громоздились вёдра, швабры, тазы, тряпки, веники и прочая хозяйственная всячина. Учителя здесь отдыхали во время перерывов, пили чай, приготовленный женщиной неопределённого возраста по имени Полина. Она проживала здесь с разрешения местного начальства, исполняя обязанности сторожа, истопника и уборщицы. Она же следила за часами — сообщала звоном колокольчика о начале занятий, перерывах и окончании. Полина была личностью примечательной. За свой вну-



шительный вес и нелёгкий характер школьницы прозвали её «Трёхтонкой» и откровенно побаивались — могла сграбастать любого зарвавшегося шалуна и от всей души надрать ему уши или дать оплеуху. На уровне эмоциональных догадок старшеклассников «Трёхтонку» считали существом с повреждённой головой. И это передавалось новичкам, хотя, на самом деле, можно легко повредиться, общаясь с таким трудным послевоенным детским материалом. Чаще всего Полина была деловита и однообразна: готовила учителям борщ или кашу, запахи которых будоражили воображение школьников, потом важно выплывала из своей коморки, придерживая рукой язычок медного колокольчика, размером с её кулак.

При её появлении, в проходном классе уже понимали: «Трёхтонка» будет звенеть до тех пор, пока их учительница, Егорова Мария Петровна, не выдержит:

— Хватит, хватит, Поля, не глухие — слышим!

Та укрощала колокольчик и важно уплывала обратно в учительскую.

И так день за днём, год за годом.

— Полина! — порой слышался голос Марии Петровны. — Иди сюда, выведи балбеса на свежий воздух, чтоб другим не мешал...

Понятно, очередной переросток вышел за дозволенные рамки, добровольно не покидает класс.

Полина тут как тут. Берёт его за шкурку, выволакивает во двор, иногда вместе с партой, в которую он намертво вцепился. Потом устроит ему экзекуцию — даст оплеуху или надерёт хорошенько уши, и тот никуда потом не пожалуется, знает, что сам виноват.

Трудно учительнице справляться с классом, но справляется. Димка понимает: через её руки прошло немало учеников, отвыкших от учёбы за годы войны. Она учитывает, кто остался без отца, кто без матери рос, кого бабка или дед воспитывают, а у кого воспитанник воспитан так, что его на переменах во дворе ученики «довоспитывают»: то нос разобьют, то под глаз синяк поставят. Часто приходится родителям объяснять, за что их чадо пострадало.

Она находит нужные слова, а вокруг — разруха, нищета, сквернословие.

Обычно переростки на переменах курили, затевали драки. Учиться им скучно — сидеть и слушать бойкие ответы одноклассников-«воробушков». Некоторые переростки бросали учёбу, их возвращали, кое-как переводили из класса в класс.

Димка ещё не знает, что скоро школа пополнится девочками, они будут учиться все вместе во вновь образованных двух классах — «А» и «Б». Класс «А» возглавит учительница Суворова Наталья Тимофеевна, а класс «Б» — Егорова Мария

Петровна. Скоро атмосфера в классе изменится к лучшему: мальчишки присмирят, учиться станет интереснее, но всё равно до пятого класса на своём посту будет находиться «Трёхтонка», и шалунам от этого не станет легче. Потом перейдут учиться в кирпичные здания — двухэтажки на этой же улице. Они чудом уцелели среди разбитого центра города, это и есть средняя школа №1. Пока же, Димка учится здесь, в «началке» одноэтажной. Партами служат столы и лавки; настоящие парты обещают скоро установить.

Обычно на лавке сидят по шесть учеников за одним столом. Димка с Сыроковасовым долго сидели на первом ряду, но на прошлой неделе Мария Петровна их пересадила — поменяла местами с Федей Варнавским и Колей Дворяткиным. Теперь «на камчатке» перед Димкой и Сашей видны в основном только затылки и спины учеников, а у прохода — профили Коли Псарёва, Валеры Салецкого, Славика Монашёва... Рядом с «камчаткой» стоит вешалка с тёмной грудой одежды. Димка даже рад новому месту, отсюда шире обзор, к тому же здесь он неуязвим от попадания в него твёрдого бумажного катыша, если вдруг кто-то вздумает натянуть резинку на пальцы и стрельнуть.

Учительница по ходу урока всё замечает, но стоит ей отвернуться, как тут же, в чью-нибудь спину

влетает такой катыш, «спина» поворачивается — кто? Поэтому, в зависимости от настроения класса, глаза у Марии Петровны меняются, то они негодующие, то настороженные, то одобрительные. Равнодушных глаз у неё не бывает.

К полудню Димка с Сашкой устали сидеть, и уже лениво слушают учительницу. Мария Петровна занята проверкой домашнего задания, правописания частиц «жи-ши», «ча-ща» и «чу-щу». В руках у неё гибкая металлическая линейка, время от времени она хлопает ею по столу, призывая к вниманию, мол, слушайте и не отвлекайтесь на глупости, не то достанется по шаловливым рукам. И вот она берёт мел и идёт к доске. И тут раздаётся в тишине грохот и смех. Это четыре переростка, сговорившись, дружно привстали, а сидевший на краю лавки Славик Монашёв рухнул на пол. Громче всех смеётся Коля Псарёв. Наверное, поэтому Мария Петровна обращает свой гнев на него:

— Встань, дубинушка стоеросовая! Развлекаться вздумал? Ах ты бесстыжий, ничего на тебя не действует, сам не учишься и другим не даёшь. Делаю последнее замечание, потом пеняй на себя — вылетит из школы!

— Во, чуть что — Псарёв!.. — возмущается он. — Я сижу, никого не трогаю, ничего не знаю, а меня — из школы?..

С Марией Петровной не поспоришь, ставит его лицом к тёплой стене печки. Это её любимый приём из педагогического арсенала дореволюционной школы. Ученик в таком положении не имеет возможности отвлекать класс подмигиванием или ужимками. Димка тоже нюхал извёстку печи и знает, как легко стать мишенью для обстрела бумажными катышами, чувствует, что и сейчас кто-то уже натягивает резинку на два пальца — целится в затылок Псарёва.

Так бы и простоял Коля до конца урока, но тут другой Коля, Дворяткин, с Федей Варнавским что-то не поделили — летят тетради и учебники на пол, схватились...

Мария Петровна жестом показывает им на дверь, не хочет тратить драгоценное время на выяснения причин ссоры, но они не унимаются, и тогда она взрывается:

— Вон, оба из класса! Или Полину позвать?

Кто же хочет с «Трёхтонкой» связываться? Несмотря встают, направляются к дверям.

Мария Петровна тут же находит тетрадь Варнавского, читает на обложке:

— «Тетрадь Варнавского Уфёдора»... Ну, грамотей! Вернись, Варнавский...

Федя непонимающе смотрит на неё.

— Ты кто, Фёдор или Уфёдор?

— Фёдор!

— Читай, написано «Уфёдор», а не Фёдор.

В это время Псарёв оторвал лицо от печной стены, повернувшись к ним, от души заливается смехом, а зря, и его тетрадь берёт Мария Петровна, проверяет и обнаруживает ошибки: он вместо буквы «и» написал «ы» в словах «живёт» и «жилец».

Зачитывает и смотрит на него, а у того в душе бесёнок-подселенец ножками дрыгает, никак не может угомониться.

— Нет, вы посмотрите, — возмущается учительница, — он ещё улыбается, каково? Мои слова ему, как горох об стену! — кипятится она и вновь ставит Псарёва лицом к стене, стучит пальцем в его рыжеватый затылок. Тот лбом и носом от каждого тычка пробует крепость извёстки. Она при этом приговаривает: «Жи-ши» пиши через «и», «ча-ща» — через «а», «чу-щу» — через «у»!

Наконец устаёт, успокаивается, отпускает его на место и садится за стол. Опять продолжает начатую тему, обращаясь ко всему классу:

— И так, ребятки, как будем писать сочетания «жи» и «ши»?

Класс дружно кричит:

— Через «и-и-и!...»

— А «ча-ща»?

— Через «а-а-а!...»

— Молодцы, а «чу-щу»?

— Через «у-у-у...ю...!»

- Кто юкнул? Придётся повторить...
- Итак, как пишется «жи-ши»?
- Через «и-и-и...» — с новой силой дружно выдыхает класс, да так, что слышно даже во дворе.

Спустя много лет, Димка становится Дмитрием Алексеевичем. Он, после окончания педагогического института, уже сам проверяет тетради своих учеников. Проверяет и вспоминает, в каких условиях приходилось учиться его поколению, и неизменно перед ним возникает образ его первой учительницы — Егоровой Марии Петровны, одной из первых получившей за свой учительский труд в послевоенное время орден Ленина. Учительницы уже нет в живых, но благодаря ей ученики её классов стали достойными гражданами СССР. И когда по юбилейным датам встречаются одноклассники, они тепло вспоминают не только её, но и школьную добрую печку, к извёстке которой она ставила их за шалости. И Дмитрий Алексеевич с улыбкой добавляет: «Наша Мария Петровна умела достучаться до мозгов».

## ПО КОЛЕНКАМ

Лев Мартинович на исходе ноября решил зарезать подсвинка — кормить стало нечем. Для такого немаловажного дела соседи обычно приглашали кольщика Стёпку-слесаря с Выгонки. Тот приходил по первому зову рано утром и придавал своему побочному занятию некий языческий ритуал: заходил к животному в сарай один и без ножа. Почёсывал намеченной жертве бока, что-то шептал в уши-лопухи, может, заранее прощения просил — кто его знает? Потом, покидал сарай, мыл руки, надевал клеёнчатый фартук и уже с ножом в руках шёл в закуту. Через минуту выходил и торжественно произносил: «Готово!» Ни единого звука не издавала свинья в момент кончины, потому как за дело брался умелец. Правда, когда Мартинович слышал эту молву-байку, воспринимал с недоверием. Это, мол, когда петуха или курицу кладут на бревно, тогда — «раз-два и готово», а тут — наоборот, работа только начинается: тушу надо за ноги волочить во двор, водружать на доски или клеёнку, затем приступить к опал-



ке паяльной лампой со всех сторон, вплоть до за-коулков кожи. Опалённые места прямо из-под пламени тщательно скрести ножом, и если огня недостаточно, то вновь подвергать опалке и очистке от гари. Женщины уже должны стоять наготове с ведрами и тазиками в ожидании момента, когда свинья будет лежать брюхом вверх. Потом наступает пора разделки туши. Степка-кольщик в этом действительно мастер, сам видел его за работой. Другой мужик на его месте будет с одной поросычьей ногой возиться полчаса, выкручивая её и так и этак, а он, словно хирург, — чирк-чирк ножом и — в таз! Когда же брюхо станет вспарывать, только и успевай: то кровь собирать, то внутренности принимать. Тут и время ставить плиту или примус, спешить за сковородкой под печёнку.

Разделяет Степан свинью по всем правилам — бери, засаливай и складывай куски в подвальную бочку на зимний сезон. Расторопный мужик, ничего не скажешь. Сделает работу и сядет во дворе на табурет — перекур. Будет ждать когда хозяин или хозяйка позовут к столу. Сковородка уже разнесит аппетитный запах по двору.

Разве кто уходит от свежатики без бутылки? Да ещё дадут в дорогу два-три килограмма сальца для семьи. Так положено, никуда не деться.

Мартиновичу не хотелось тратиться на Степана. Решил в целях экономии заколоть подсвинка сам. Видел не раз, как это делается. Какие сложности? Вдавил нож под левую лопатку, вот и всё!

Приготовил, что требуется в таких случаях, и отправился рано утром в сарай, где уже повизгивал голодный подсвинок, не дотянувший ещё до четырёх пудов. Решительно зашёл в полумрак закуты, даже сына Толика не разбудил, чтоб тот ноги попридержал животному.

Подсвинок почуял что-то. Запах, шедший от хозяина, показался ему недобрым, заставил завизжать, заметаться в поисках выхода. Мартинович с трудом дал ему подножку — лишил опоры, завалил набок и воткнул под лопатку нож. На мгновение показалось, что дело сделано, но не тут-то было, подсвинок не захотел отдавать концы, наоборот — придал своей жизни резкое ускорение. Мартинович слетел с него в каменный угол сарая, ударившись головой об стену, а животное бросилось во двор с неистовым смертным визгом. Этого Мартинович не ожидал. Задуманная работа не требовала шума и посторонних глаз, а, между тем, подсвинок, выбив рылом калитку выскочил на улицу и, оглашая визгом окрестности, ринулся куда глаза глядят, кровавая дорогу. Мартинович сильно огорчился и впал в ярость — схватил первое, что попало под руку, а это был лом, и по-

гнался за подранком с целью добить. Лом же не копьё, а тяжёлое орудие для дробления льда и камня. Поразить им бегущую свинью, даже раненую, орущую во всё горло под окнами соседей, — проблема. Мартинович целил в голову и делал промахи, но всё же в конце концов достиг победы, хотя и вывихнул при этом себе руку. Кое-как затащил тушу во двор и запер калитку. Потом отдышался.

Знай, как трудно добивать, не скупердяйничал бы.

\* \* \*

Дед Юра — сосед Мартиновича. Он не только слышал поросячий визг, но и рассмотрел в щель забора всю картину погони в полной её несуразности. Посмотрел-посмотрел на лихорадочные действия Лёвы Мартиновича, да и плюнул под ноги с досады: «Тоже мне, хозяин. Не можешь — не берись!» И пошёл разводить костёр, чтобы бочку пропарить для засола капусты на зиму.

Зима вот она — на носу. Трава седая, как и он сам.

Костёр запылил, раскурил «козью ножку», поглядывая вглубь двора. Там — Федька-зять, кочаны капусты расставляет на верстаке, секиркой помахивает, к шинковке готовится. Дочь натирает на тёрке морковку в тазу, зубками, как мышка, огрызочки приканчивает. Невдалеке дубовая бочка на четверть залита колодезной водой.

Фёдор — сгорбленный верзила, с четырнадцати лет токарит на заводе. Зная цену труду, уважает тестя, порою глядит на Юрия Петровича и думает: «Старик, что дуб морёный, ни на что никогда не жалуется. Проснётся и уже — по всей округе — бум-бум-бум! — очередную бочку молотком охаживает, обручи набивает, потом потащит продавать на базар, неугомонный...»

И тесть доволен зятем — трудяга, добродушный, одна слабость у него — любит покойников хоронить. Не сказать, что только из-за выпивки, нет, здесь что-то иное, какая-то непостижимая тяга к чужой печали, а может, и загадки нет — чаще других стали помирать фронтовики.

Дед Юра любит погружаться в себя, порой сидит, как глухопень, — не слышит, когда к нему обращаются с каким-нибудь вопросом. Виноват в этом не слух — нырнул глубоко в память. Сегодня он задумчиво сидит у костра. В нём греется рельсовый кусок в полпуда и два бульжника...

Вскоре дед ловко подхватывает лопатой раскалённый кусок рельса и быстро швыряет его в бочку с водой. Раздаётся страшное шипение и бульканье, пар с огромной силой рвётся наружу. Дед тут же накрывает бочку старым ватным одеялом, сверху набрасывает брезент.

— Дно бочки прогорит, подложи жечь! — кричит зять.

— Не учи учёного, — заявляет тесть, — подложку давно опустил, ты лучше подсоби: когда я каменюку понесу — сбрось укрывалку, а я вторую ходку сделаю...

Пошвырял тесть булыжники из костра в бочку, накрыл плотно старьём, но всё равно пар щелит из-под тряпья, бочка трясётся, как припадочная. Пришлось своей фуфайкой докрыть. Обхватил её руками, просит зятя проволоку подать, вдвоём крепко-накрепко утягивают её.

— Порядок! — доволен тесть. — Теперь, секи да секи кочанчики, глядишь, к полудню управимся.

Зять потянул носом.

— Никак, палёным пахнет...

— Это не у нас. Мартинович поросся смолит.

— Забил-таки?

— Концерт! Аль не слышал визга? — вскинул брови тесть. — Тут и мёртвый поднимется...

— Значения не придал... На печёнку-то пригласит?

— Спеши! Ритку, жену Лёвкину, не знаешь? — проворчал тесть — Ещё та куркулиха... Повезло им: дом уцелелый, не разбомбленный, а от нашего тогда один фундамент остался. Тёща твоя, Лидия Васильевна, когда вернулась из эвакуации с детьми, ахнула, увидевши родное гнездо. Вещи, что зарыла в яму сарайную, того — тью-тью!.. И сарая нет — растащен на дрова. До сих пор горюет о потере швейной машинки. Не оказалось в том

месте ни её, ни вещей, и пришлось гнзедиться заново, начинать житьё с нуля.

А Риточка, скажу тебе, никуда не уезжала, сама сказывала потом: «Мы перед приходом немцев пёхом шли с тачками к Ельцу, а на полпути, где-то за Чернавой, немецкие танки нагнали беженцев и поворотили всех назад».

— Какая же Маргарита Яковлевна куркулиха? — недоумеваает Фёдор — Ничего особенного в доме у них нет, сама не высовывается куда не надо, если и прижимистая, что из того?

— Кабы прижимистая, то ничего — беда заставляет копейку экономить, тут — другое, позвонче будет... Она внутри себя материалом гнилистая, на неё чутьё надо иметь, а ты по поверхности судишь. Лёва — тот на виду, по локтям видно, и на роже написано. Поживёшь с моё — поймёшь...

И замолчал.

«Не мужское дело, — думает дед Юра, — языком чесать попусту».

Сам в эвакуации он не был, ведь его, участника русско-японской и первой мировой, за месяц до тех событий выслали в степь под Семипалатинск.

— За что? — поинтересовался он тогда у оперуполномоченного НКВД. Тот оказался словоохотливым:

— Потом поймёшь... — Порылся в бумагах, нашёл формуляр, уточнил: — фамилия Бондаренко?

— Я!

— В списке ты. Ох, мать-перемать! — вдруг удивился он. — Здесь написано: «бондарь-ремесленник»... Занятно. Тут всё занято... — И весело сочинил на ходу: — Бондаренке Бондаренко дал под зад и по коленкам. Слушай, «за что», бондарь-Бондаренко: нечего таким, как ты здесь делать в опасное для Родины время. Кто знает, куда переметнёшься? Ты же в польском плену бочки пшекам ладил. Столько поумерало там, а ты живым вернулся... Может, затаился? Немцам ведь бочки тоже будут нужны в большом количестве, а нам — ещё больше. Поэтому и отправляешься туда, где будешь пользу приносить своей стране...

Чуть не помер он в степях первое время, потом вспомнили о нём. Бочки действительно требовались для нужд Красной армии. Изготавливал их ровно пятнадцать лет. Вроде как вину отработывал, чтобы впредь руки вверх не поднимал: ни перед поляками, ни перед возможными прочими врагами советской власти.

Реабилитировали его, пенсию назначили, потом помогал Фёдору дом новый достраивать. А слова опера не забыл: «После поймёшь...» Это когда ж?

Дым от костра струится вверх — к солнышку бабьего лета. «Хороший день для засолки капусты выбран, — думает дед, — правда, Мартинович

подпортил утро поросячьим визгом — до сих пор в ушах звон стоит».

Своих двух поросят дед Юра планирует дотянуть до Нового года, а лучше — до Крещения.

«Семья большая, растёт год от года. У зятя с дочерью уже четыре девочки, обязательно будет ещё ребёнок — мальчика хотят. Зоя устроилась работать поваром в столовую, есть чем кормиться, да и поросятам пищевые отходы будет носить. Ишь, как ловко она в тазу перемешивает капусту с морковкой. Рядом жена с корытцем — тоже лопатит её покрасневшими оголёнными руками. Вот заполнят они полбочки, и начнём перестилать соленье рядками антоновки. Испокон веков так мочили яблочки. Вкусны — не оторвёшься — дай-ка ещё! И капустка душиста».

— Перезимуем, Зоюшка? — кричит он от нахлынувших чувств.

— Никуда не денемся! — поняв отца, откликается она.

Лидия Васильевна кидает на них взгляд и улыбается.

\* \* \*

Муж и жена Мартиновичи к сумеркам разделались с тушей — внутренности собраны в вёдра, тазики, кастрюли, тарелки... Окорочка временно подвешены под потолок сарая. Безухая и безъя-



зыкая свиная голова подростка лежит на столе веранды, ждёт завтрашней доработки. Она ещё злобно щерится опалённой пастью из-под накинутаой на неё клеёнки. Худые рёбра с салъцем отделены от позвоночника топором и густо пересыпаны солью, опущены в бочонок. На холодец пойдут ноги, уши, хвост...

«На сегодня хватит!» — проголодавши, решают они. Маргарита Яковлевна успела-таки поставить на примус сковороду, приготовить жаркое, пока муж резал и рубил тушу.

— Намаялись мы с тобою, Рита, — говорит он устало. — Были бы дети рядом, а то — жди их!

— Что напрасно толковать — разделались и ладно. Учатся студенты наши, и пусть учатся. Дай бог, к Новому году приедут. Теперь есть чем порадовать и поддержать их. Лёва, слушай, а не пригласить ли нам на ужин, к примеру, Лиду Бондаренко с Фёдором и Зоей? Как-то неудобно, соседи же.

— Без Петровича?

— Дед точно не пойдёт, выдумает что-нибудь, лишь бы характер показать, и Лида тогда под вопросом.

— Молодых звать — бутылку выставлять, а нужно?

— Лёвушка, мне нужен Фёдор. Хочу просить его выточить из бронзы на заводе гардину для оконных штор. Он её на своём станке Варваре

Степановне бесплатно сделал за один день. Мне понравилось.

— Зови, если надо, пока сковорода стоит, — решил Мартинович, морщась от предстоящих дополнительных хлопот с гостями.

\* \* \*

Дёд Юра появление Маргариты Яковлевны не ожидал. Выслушал, поблагодарил, но гостевать отказался.

— Почему? — вяло поинтересовалась она, больше из любопытства: что на этот раз выдумает?

— Коран не велит!

— Петрович, ты верующим стал? Не поверю...

— Погуляй по степным просторам, согласишься.

— Жену с молодыми отпускаешь? — не унималась она, хотя Лидия Васильевна с зятем и дочерью уже наскоро переодевались, оставив детвору на попечение старшей из них — Вики.

— Воля их, я стар с вами лясы точить.

Ушли они, а он задумался, может, прав Фёдор, сомневаясь в жадности Маргаритки? Может, чутьё притупилось? С Лёвой всё ясно — знает, как облупленного: чужого не возьмёт, а и своего из рук не выпустит. Работает бухгалтером на элеваторе, но горсти зерна не выпишет для своих кур, или поросёнку. За бардой, почти дармовой,

не пойдёт с вёдрами к ямам спиртзавода. Другие горожане носят вёдрами и возят на тачках, а зимой — на санках для подкормки скотины. Лёва же считает ниже своего достоинства шагать с хмельным пойлом в общем движении. «У него на пиджаке подлокотники — вот что противно, — думая о нём, говорит себе дед Юра. — Терпеть их не могу. Насмотрелся в ссылке».

Кто тут виноват, Лёва или подлокотники? Один их вид — как ожидание подлости...

Пока он думал и рассуждал, внезапно появилась жена, возбуждённая от встречи с Мартиновичами.

Она с трудом держала руками зингеровскую швейную машину, не могла сказать ни слова, пока следом за ней не вошли в дом дочь с зятем.

Дед Юра посмотрел на дочь, та сияла восторгом от случившегося, потом рассказала:

— Пап, а мама — ой, не могу... Такая молодец, и находчивая, хоть в разведку посылай!..

— Не надо, у неё ревматизм, колени распухли!

— Нет, пап, встретили нас хорошо — то да сё балакаем с дядей Лёвой, Маргарита Яковлевна Федю обхаживает, а я разговариваю и вижу: мама за столом сидит и временами косит глазами туда, за занавеску в спальню...

— Я сразу увидела свою машиночку! — наконец-то заговорила Лидия Васильевна. — Та самая,

что я в сарае закопала вместе с вещами, потом ещё сверху кучу угля насыпала. Сижу, значит, за её столом и сразу аппетит пропал, солёным огурцом чуть не поперхнулась, но вида не подаю. Погоди, думаю, воровка, я тебя на чистую воду выведу! И как земля таких носит, как вода поит? Разозлилась от воспоминаний, потом встаю...

— Дай доскажу, — не выдерживает дочь, — я лучше видела, как ты встала.

— Как я встала? Причём здесь «встала»?

— Потому что встала торжественно, а говорила печально и жалостливо, как над покойником: «Ой, Риточка, ой, кровиночка моя сердечная, ой, родненькая, что же ты над собой сделала? Ой, что теперь будет, жалкая ты моя?..»

— Правда! — подтвердил Фёдор. — Так и прочитала, все в ступор вошли — глаза вытаращили, Мартинович рюмку выронил, челюсть отвисла... Я тоже не пойму, что происходит?

— И тут мама идёт в спальню, — продолжает Зоя, — потом возвращается, ставит на табурет машинку и говорит: «Смотрите!» — и поворачивает защёлку-держалку, заваливает набок станину агрегата, а там — короб деревянный. И объясняет нам: «Когда я машинку свою собиралась закапывать в сарае, я на боковой стенке короба написала свою фамилию, имя и отчество: «Бондаренко Лидия Васильевна». Вот эта надпись, все смотрите,

чтобы ясно было — машинка — моя! Ой, Риточка, что же ты натворила, воровочка мародёрская!»

— Она с ней, как кошка с мышкой играла, — как итог подвёл Фёдор. — Лидия Васильевна взяла машинку и понесла домой, а потом мы пошли. Не сразу, правда. Мартинович вышел из-за стола сам не свой, что-то пытался объяснить: мол, до войны Маргарита Яковлевна не была замужём, девичья фамилия её тоже — Бондаренко.

— У мамы и у неё одинаковые фамилии? — удивилась Зоя.

— Я вышла за Юрия Петровича и стала Бондаренко за десять лет до войны, — повернулась к зятю тёща, — а Рита превратилась в Мартинович сразу после войны, потому я и написала на коробе имя-отчество. Тут ничего не спутаешь, и Маргаритка всё поняла — не стала вякать.

Нашлась пропажа.

Лидия Васильевна занялась внучками — девочки шалили, не слушали старшую Вику, требовали, чтобы только бабушка уложила их спать, без сказки её не заснут.

Дед Юра полез в карман за махрой, пошёл во двор. Долго стоял и курил, роясь в памяти, стыкуя друг с другом в одно целое куски. Остро выпирал осколок со словами опера: «Потом поймёшь...». И его издательская придумка: «Бондаренко Бондаренке дал под зад и по коленкам». Не ключ ли это к пониманию? Маргаритка вполне могла наступать.

## ВНЕЗАПНЫЙ УДАР

Николай проснулся и привычно поставил чайник на керосинку, стараясь не разбудить жену с тещей, ещё спящих по случаю выходного дня. Жил он в деревянном доме дореволюционной постройки с молодой красавицей женой Люсей и её матерью Варварой Степановной — широкозадой пятидесятилетней женщиной бойцовского характера. Не смотря на то, что дом принадлежал ей, она старалась зятю не попадаться лишний раз на глаза. И совсем не потому, что побаивалась его, нет, просто из-за частых стычек с ним уставала натягивать свою боевую пружину. Да и он предпочитал держаться на расстоянии от её ударно-спускового языка и, мягко говоря, на дух не переносил её, называя в сердцах ведьмой, но чаще — Помелухой. Варвара Степановна не оставалась в долгу — иначе как Анчихристом зятя не именовала, о чём улица знала.

Соседи порой недоумевали: как может Люська с таким мужем, да ещё милиционером, жить? Пытались найти ответ: может, потому что он её

никогда даже пальцем не тронул и другими женщинами не интересовался? Но каково терпеть, когда её родную мать он называет Помелухой, а та его — Анчихристом? И приходили к выводу: терпит, стало быть, любит. Любовь же, как известно, — море-океан без берегов. И если Люська любит его, то не такой уж он антихрист, да и сама Помелуха не похожа на ведьму, наоборот — женщина всё ещё красивая и трудолюбивая, а уж когда идёт, качнёт бедром — редко какой мужчина не посмотрит вслед... Мгновенно резкая на язык — это правда.

Молва округи была на стороне Николая, а бессловесная правда стояла незримой горою за Варвару Степановну. Молву и правду в таких случаях разрешает закон, который при случае всегда может сказать: Николай никакой не антихрист, а гражданин СССР — Николай Григорьевич Сухынин, 1927 года рождения, не судимый, родственников за границей не имеющий, старшина милиции, женатый человек.

Сторонники молвы знали, что он любит выпить, но не больше, чем они сами, и любопытным могли пояснить: «Григорич, если одет по-гражданке, возьмёт стопоря, а при фуражке — не-е-е!»

Это почти соответствует действительности. Сухынин выпивал лишь в конце напряжённо-

го дежурства, в узком кругу приятелей-сослуживцев. Потом круг постепенно расширялся, как от в воду брошенного камня. Да и за пределами этого волнообразования трудно было установить, хмельной он или трезвый? Его круглая физиономия всегда носила один и тот же румяно-медяной цвет. Внешне выглядел серьёзным, приятным мужчиной. Начальство часто привлекало его к дежурствам: то по охране местного отделения Госбанка, то для обеспечения безопасности горкомовских мероприятий, то для встречи и сопровождения важных гостей. Он, по мнению командиров, своим видом должен олицетворять лицо горотдела внутренних дел. Сувенин к этому привык — например, с достоинством подходил к советско-партийному застолью, если на то было приглашение опрокинуть рюмку-другую по случаю завершения дня, и даже мог ввернуть какой-нибудь свежий анекдот. Умел не только представлять лицо органов правопорядка, но и являть решительность при участии в поимках преступников.

Например, однажды в одиночку доставил в отдел милиции грабителя, разыскиваемого областным уголовным розыском, поднявшего на ноги все отделы, включая линейные. Сувенин тогда лишь бегло ознакомился с ориентировкой после ночного дежурства и отправился домой, но нео-



жиданно заприметил разыскиваемого рецидивиста на железнодорожной станции. Тот появился у вокзальных дверей чуть позже старшины. Стоял и осматривался минуту-другую. Люси-буфетчицы ещё не было, только уборщица, тётка Маруся, привычно смахивала тряпкой с дубовых столов головки вчерашней камсы в ведро. В пассажирском зале на лавке клевали носами три сельчанки — больше никого. Вот-вот буфетчица должна появиться, ведь недаром по пути домой он хотел перекинуться с ней словечком-другим.

— Тётка Маша, — прошептал он, проходя мимо, — брось тряпку и без звука подай мне ведро. Потом стой и молчи, не высовывайся!

Уборщица не заставила ждать. Старшина с ведром в руках шагнул к двери. Он знал, что она открывается с усилием «на себя» из-за тугих пружин, значит, одна рука у грабителя будет занята, а это уже кое-чего.

Так и вышло: едва тот потянул дверь, как старшина одной рукой надел ему ведро на голову, а другой так врезал по жестяному днищу, что тот просто обалдел и на какое-то время потерял способность соображать. Этого хватило, чтобы заломить ему руку за спину — попробуй, выскользни, если не жалко костей.

Линейное отделение милиции располагалось в пяти шагах от вокзала. Там как раз в ка-

бинете начальника шёл инструктаж наряда об особой осторожности при обнаружении и захвате матёрого грабителя. И вот дверь открывается, и вталкивает Сupyнин человека с ведром на голове:

— Принимайте голубчика, тёпленьким...

Опешили.

Зачем ведро надел на голову толком объяснить не смог, видимо, от переизбытка игровой силы.

— Как ты его раскусил? — удивлялись потом.

— У него родинка на мочке левого уха, а мочки — сросшиеся. Всё, как указано в ориентировке! — улыбался Сupyнин. — А если честно, то повезло. Мне всегда везёт: «Если я чего задумал — непременно выпью!»

Эту шутку-прибаутку за ним знали.

В таких случаях орден полагается или медаль, но начальству виднее — ограничилось вручением хорошей денежной премией — гуляй, старшина, слышали мы, задумал ты жениться!

Люся-буфетчица с момента знакомства впи-лась занозой в его сердце. Она долго держала его в напряжении и на расстоянии, но после того, как тётка Маша рассказала ей о ведёрном подвиге Николая Григорьевича, сердечные дела его стали быстро продвигаться к свадебному завершению. Женился, тещу заимел, узнал её непобедимый

нрав. К тому же, если что не по ней — моментальная вспышка гнева, ярость. Ведьма она и есть ведьма. Не надо было переезжать в её дом, но это было Люсино условие — не разлучать с мамой. Жилья своего не имел — не на что было строить. По этой причине молодожёны рожать детей не торопились. И Варвара Степановна — туда же, поддакивала:

— Успеется это дело, пусть он трезвость заимеет, а то, ишь, самогонку повадился хлобыстать. Погоди, доберутся до тебя твои командиры, узнаешь, почём фунт лиха!.. Впрочем, не доберутся, все вы там — анчихристы в погонах и с закусью в кобурах. С утра уже настроены на опохмелку за чужой счёт. Как есть — паразит на паразите...

Такие нестерпимые слова требовали мгновенного отпора, и Люся, как могла, удерживала мужа от очередной домашней ссоры.

Она убеждала Николая: вспышка маминого гнева всегда кратковременна, как сера вспыхнувшей спички, не надо ей перечить, она этого не любит. Но он видел другое: Варвара Степановна, если он помалкивал, наглела на глазах.

«В одном права тёща, — размышлял он, — самогоном действительно увлекаются многие — от рядовых до офицеров. Так на это имеется причина: устаёт служивый народ от окружающей грязи

с утра до вечера. Сидит, к примеру, перед тобой компания в КПЗ — глаза бы на неё не смотрели, но приходится терпеть даже откровенную мразь. Бывает, идёшь по базару или шагаешь мимо пивной, смотришь и рассуждаешь: этот гражданин у нас сидел, этот — дважды сидел, а вон тот — обязательно будет сидеть!»

Порой Николай Григорьевич недоумевал: что происходит? То вводили расстрельную статью, то, отменив её, массово выпускали заключённых на свободу, чтобы вновь собирать большинство их со всех щелей и закоулков. То можно носить оружие, находясь на службе, то нет в этом особой необходимости в условиях развитого социализма. Куда это годится? Теперь, говорят, Никите Сергеевичу Хрущёву из Америки привезли партию полицейских дубинок. Понравились ему эти резиновые палки, очень уж эффективны при разгоне митингов и шествий. Однако, в нашей стране — дело неслыханное и невиданное... Мало ли что говорят? Какие дубинки? Опомнитесь.

«Самогоном тёща попрекает, — не унимался он, — так у нас борьба с этим злом велась и ведётся: самогон изымаем, потом выливаем содержимое фляг на землю, чтоб всем было видно — так будет и впредь! И аппараты изымаем и уничтожаем после изъятия. Правда, как пили, так и пьют. Самогон-то в широком народном ходу,

а милиция — часть народа, ей тоже хочется иногда выпить». Вздохнул: «Съехал бы от тёщи, только куда? С Людмилой как? Слушать об этом не хочет».

От такого вывода становился угрюмым, как стрела, не попавшая в цель.

Выпив стакан крепкого чая, Сupyнин стал собираться на службу. Тёща за перегородкой ещё спала, иногда всхлипывала и постанывала, шумно выталкивая из груди воздух, ей видимо снился какой-то жуткий сон.

Но она видела милые и странные картины, захватывающие всё её существо!

Варваре Степановне снится конный двор, что с тыльной стороны здания горотдела милиции, в окружении цветущих одуванчиков. И себя она видит: стоит — молодая, стройная — с коромыслом и вёдрами и посматривает на окно второго этажа. Оно вот-вот распахнётся, в нём должен появиться мужественный её зять — Колька. Она вся напряжена, но внешне старается выглядеть весёлой, задорной козочкой. Оглядывается, а позади — широко раскрыты двери бревенчатой конюшни, там стоит телега, в ней на соломе лежит замполит — капитан Кукушкин с лицом напряжённого ожидания. Перед ним на стене висит чёрный хомут...

И тут окно раскрывается — Колька проталкивает крышкой вперёд самогонную флягу, громко поясняя свои действия:

— Содержимое ёмкости подлежит уничтожению, путём слива на землю в присутствии понятых...

Заслышав это, Варвара Степановна спешно бежит под окно. Ставит ведро под самогонную струю, летящую вниз из фляги. Рядом, наготове — второе. Не пропадать же добру. Здорово зять придумал! Хозяйственный мужик, толковый...

Подцепив коромыслом вёдра, она, раскачивая бёдрами, направляется к капитану Кукушкину. Он радостно протягивает ей алюминиевую кружку...

И сидят они в обнимку, радостно поют нечто нежное без музыки. Потом разом завечерело, закружилось всё перед глазами. Она стала сладко стонать, когда офицерская рука полезла к ней под юбку... И вдруг — бац! — Колька надевает на голову Кукушкину ведро, и гонит его помелом с конного двора горотдела...

«Господи, — очнувшись от сна, бормочет Варвара Степановна, — где я? Ничего не пойму... Вздор какой-то, чёрт знает что! Ну ладно, сама слышала, что с флягами они иногда так и поступают, но почему Игорь Кукушкин оказался на телеге, да ещё во дворе милиции? Он же служил в зенитной части и капитаном ещё не был... Надо бы до-

смотреть, почему всё не так, как было на самом деле».

И опять задремала.

\* \* \*

К Игорю Кукушкину Варя была равнодушна с юных лет, и он к ней проявлял повышенное внимание, но её подруга — Агриппина, или Гриппочка, как она её звала, стала между ними, не позволила дальнейшему развитию событий. Игорь, увлечшись Гриппочкой, потерял гордую Варю, она вскоре вышла замуж и родила Люсю, а через десять лет муж погиб под Вязьмой. С тех пор вдовствовала, воспитывая дочь, работая уборщицей в школе. Время от времени встречала в городе Гриппочку, но отворачивалась, видеть её не хотела. Мало того, что не разговаривала с ней, она ещё всем своим видом показывала полное игнорирование её. Не могла забыть, что та когда-то помешала ей в любви, и у самой ничего не получилось с Игорем. При встрече с бывшей подругой Варвара Степановна иногда громко сморкалась и шлёпала рукой содержимое носа вниз с такой силой, что упади оно на камень, он вздрогнул бы. Гриппочка же спокойно продолжала идти в противоположную сторону и, отойдя на безопасное расстояние, стыдила:

— Нехорошо, гражданка... Убрать надо за собой отсебятинку!

Варвара Степановна не всегда так поступала некультурно, видимо, у неё при скверном настроении срабатывал какой-то древний инстинкт высшего презрения к сопернице. Ей и самой после этого становилось неудобно, но поделаться с собой ничего не могла.

Агриппина вины перед ней не чувствовала, ведь Игорь тогда сам увлёкся ею, а потом оставил обеих ни с чем, уехал поступать в военное училище. Забыть бы прошлое, а та не может...

На днях она слышала: Кукушкин приехал в отпуск, видели его с Варей на лавочке в городском саду, ворковали о чём-то, как голуби. Правда ли, нет? Уточнить не у кого, горожане сильно разбавились селянами — в городе начали новые заводы возводить, появились новые заботы, а Варьке всё неймётся, Игорь у неё на уме...

И Гриппочка забывала свои переживания, не могла предвидеть восстановления дружбы с Варей.

\* \* \*

Игорь Анатольевич Кукушкин — отпускной подполковник, тем временем рыбачил за плотиной Адамовой мельницы, где образовался небольшой водоём — озерцо от прорывных ручейков. Озерцо стояло в окружении высокой травы и кустов ивняка. Из него неспешно вытекал узкий проток,



направлявшийся в стремительную Сосну. Рыбаки редко здесь сидят, в основном предпочитают береговые места — от бурного рукава реки возле пятиэтажного здания давно не работающей мельницы и до поворота русла под Шатиловой горой.

Он открыл для себя озерцо случайно, когда возвращался домой после неудачной рыбалки. Здесь решил отдохнуть, заодно испытать рыбацкое счастье. Поставил донку с колокольчиком на пескаря, собирался уже прикорнуть, как колокольчик дрогнул и зазвенел. С трудом вытянул красавца-окуня в полтора килограмма, потом ещё двух. И хотя в другие дни такого скорого клёва не было, и попадались экземпляры значительно меньшего размера — окуньки да ерши, озерцо полюбил за тишину. Здесь, в одиночестве, ничего не мешало, например, вспоминать, как в юности не раз ходил прогуляться с Варенькой к Адамовой мельнице.

Иногда они ходили через Беломестную к лесочку Липовчику, сидели под кручей Шатиловой горы, пили из ключа ледяную воду и шли назад к плотине. Домой возвращались усталые и счастливые. Были дни, когда они отправлялись в противоположную сторону — вверх по речке Ливенке на Ключёвку, полюбоваться красотой этого удивительного уголка и отведать там родниковой воды. Приходили и смотрели, как бьёт из-под земли целая россыпь ключей, как вращается деревянное

колесо затерянной в ивах крестьянской мельницы. Потом шли к Ямскому лесу, взбирались на бугор, под которым сливается Ливенка Лесная с Ливенкой Полевой....

Вспоминал и улыбался. Хорошее было время. Этими маршрутами ходили горожане из поколения в поколение. Спроси у любого местного, и убедишься — ходили, а зимой на лыжах бегали. И Варя с Гриппой знают об этом. Подполковник вздохнул, скоро надо покидать родные места, возвращаться в часть. Скоро придётся распрощаться с армией — возрастной предел наступает, к тому же увольняют даже кадровую молодёжь. Хрущёв всё чего-то обрезает, экспериментирует с Вооружёнными Силами, мало слушает специалистов. Готовиться надо к худшему. Впереди пенсия, с выбором постоянного жилья. Семья пока привязана к Свердловску, сюда перебраться её не уговоришь, основательно укоренились там...

Игорь Анатольевич почесал лысину, и снова вспомнил Вареньку.

На прошлой неделе он случайно увидел её в Ивановском магазине. Обрадовались друг другу, словно и не расставались. Взял под руку, пошли к городскому саду. Посидели в кленовой тиши, как прежде. И понял: из всех женщин, что встречались ему на жизненном пути, ей нет равных. И пусть она зовётся окружающими уже не Варень-

кой, а Варварой Степановной и выглядит по-другому, и работа у неё не престижная, но любит его по-прежнему, как в юности. «Кукушкин ты Кукушкин, а ещё зенитчик-артиллерист! Ты же недолёт совершил, — сокрушался он, — и теперь не имеешь право на точное попадание, поскольку ждёт тебя семья...»

И, понимая это, всё же не смог устоять от нахлынувших чувств к ней — пригласил в гости. Правда, не совсем к себе. Он остановился у друга юности, у которого была для него приготовлена отдельная комната. Варвара Степановна друга хорошо знала, но пожелала, чтобы бы он оставался в неведении.

Игоря Анатольевича это тоже устраивало.

Варя пришла под вечер, как и договорились. Хорошо посидели за бутылочкой шампанского, как у бога за пазухой, ничего не скрывая. Все недоумения оставили позади, вновь почувствовали себя молодыми. Не удержался он тогда от нахлынувшей страсти, уж очень она выглядела желанной с её зрелой статью. Потянул к дивану. Она и не препятствовала, наоборот — откликнулась таким порывом чувств, что он долго не мог прийти в себя. Как же так — в таком возрасте?..

Это ж — шторм, буря! Ничего подобного он прежде не испытывал. «Варенька, что теперь мне делать?»

Сматывает подполковник удочки и словно слышит ответ:

— Что хочешь, только не забывай меня. И помни, ничего от тебя мне не надо; будет возможность, приезжай опять...

\* \* \*

Супынин смотрел на тещу и удивлялся: перестала лезть на рожон, можно сказать, прекратила сражение с ним, капитулировала. «Так я тебе и поверил, — мысленно рассуждал он, — усыпляешь бдительность, чтобы однажды нанести внезапный удар. Ладно, поживём — увидим, что за сюрприз ты приготовила».

Варвара Степановна и вправду переменялась, расцвела осенней хризантемой, обрела несвойственные ей черты мягкости.

Улыбчивость и приветливость не сходили с её лица, заражали соседей.

— Николай Григорьевич, какой ключик к теще подобрал? — спрашивали его при встрече.

— У баб сто сорок перемен за день, — отмахивался он, — не знаешь, чем хворают и какое лекарство требуется — загадочный народ, тут, как говорится: не буди лихо, пока оно тихо.

И дочь заметила: мать подобрела к Николаю — ни разу Анчихристом не обозвала, наоборот, стала называть уважительно — Григорьевичем.

По утрам уже не ворчала, сама готовила завтраки. «Слава богу, лад пришёл в семью, пора её порадовать внуком или внучкой», — думала Людмила.

Наступила осень, Варвара Степановна решила на завод пойти работать, чтобы заранее увеличить размер будущей пенсии. В отделе кадров завода посоветовали ей потрудиться месяца два-три уборщицей на участке цеха, оглядеться, потом выбрать специальность, которая понравится.

— Нет, — решительно сказала она, — хочу учиться на фрезеровщицу.

— Хорошо, — ответили ей, — ваше право выбирать. Специальностей у нас много на любые возрасты.

И Варвара Степановна влилась в рабочий коллектив. Спецовку выдали, тумбочку указали для инструментов, как и положено. Только откуда она могла знать, что обучать её будет фрезеровщица пятого разряда Бобакова Агриппина?

— Ну, ты даёшь! — вместо приветствия выдохнула Гришпочка. — Просись у мастера к другому станку, мне с тобой не сладить.

— Сама отказывайся, если хочешь, мне без разницы, кто будет обучать, — парировала Варвара Степановна. — Работы не боюсь, сладишь, если захочешь.

— Тогда смотри и запоминай: работа наша начинается с соблюдения техники безопасности...

И пошли дни скорые, безоглядные. Уже через месяц Варвара Степановна работала самостоятельно на станке, а ещё через месяц получила первый разряд фрезеровщицы, всё ещё находясь под наставническим присмотром Бобаковой, поскольку главнейшая задача на заводе — выполнение и перевыполнения плана.

Худенькая черноглазая Гриппочка в передовиках ходила, портрет её красовался на заводской Доске почёта, но она проходила мимо него равнодушно, словно не замечала, больше гордилась своим мужем — Евгением Захаровичем. Варвара Степановна знала, что он работает инспектором горно, умеет играть на баяне, и вообще, учителя школ считали его общительным и весёлым человеком среди других инспекторов школьного образования.

Как-то Гриппочка пригласила её к себе отметить получение очередной денежной премии. Варвара Степановна не возражала, они же вновь сдружились. И убедилась: действительно Евгений Захарович весёлый человек, даже очень.

В разгар застолья, когда жена вышла на кухню, он попытался притянуть к себе гостью и дать рукам волю на её бёдрах. Варвара Степановна по-мужски быстро и коротко врезала ему промеж глаз. Охнув, он тут же ушёл на балкон курить.

С тех пор при встрече с ней Бобаков неопределённо хмыкал и отводил глаза.

\* \* \*

С наступлением зимних холодов Люся обрадовала мужа:

— Коля, у нас будет ребёнок! Готовься стать папочкой к весне...

— Спасибо, что предупредила, — заулыбался Супынин, — а то мне невдомёк. Не ты ли в среду ходила в консультацию к Васильевой? Мне уже сообщила она радостную весть, а ты опоздала...

— Вот болтунья! — нарочито недовольно возмутилась жена. — Ничего у неё не держится, а ещё медик.

— Ладно, перестань ворчать на неё. У нас с врачами свои отношения. Ты теперь, того... береги себя, осторожнее ходи по ледышкам, да под ноги гляди. Кстати, матери говорила?

— Нет. Сказать надо, а то обидится, сорвётся и понесёт.

— Может, — вздохнул муж, — она — человек особенный.

Вечером Супынин насторожился — мать с дочерью о чём-то долго шептались. Он лишь услышал, как тёща обронила фразу: «Мне к Васильевой ходить не надо, я и так всё знаю». И он подумал: «Вот и хорошо, что знаешь, и не взбесилась». И успокоился, переключился на другую новость, горячо обсуждаемую в его среде — о принятии

на вооружение резиновых дубинок. Ввёл-таки их Хрущев. Старшина полагал, что этого никогда не будет в советской милиции, и поспорил лейтенанту Павлику Козлову бутылку водки. Завезли-таки в отдел первую партию дубинок, теперь рассматривают их с любопытством, рассуждают об ударной силе...

Невдомёк старшине, а то бы страшно удивился тётчиной фразе о Васильевой.

В разговоре с дочерью о её беременности Варвара Степановна призналась, что и сама находится в таком же положении. Дочери показалось, что она ослышалась:

— Мама, ты что, не рада? Я тебе говорю: «У нас с Николаем будет ребёнок». А ты, словно шутишь...

— Люсенька, доченька, я очень рада за тебя, очень! Давно пора его иметь, но не хочу тебя обманывать, получилось так, что вынуждена сказать... Рада ты этому или нет, я тоже жду ребёнка. Выслушай меня спокойно...

И Варвара Степановна рассказала дочери предысторию своей любви к Игорю Анатольевичу Кукушкину. Люся долго не могла поверить сказанному, настолько её ошеломила эта весть, и только вопрошала:

— Как же так, как же так?..

— Успокойся, как есть, так и будет, — твёрдо заявила мать. — Что в любви дано, то надо беречь.



Вместе будем детей растить. Мужу об этом пока не рассказывай. Надо его подготовить. Он у тебя с рас-судком, должен понять.

\* \* \*

В рано наступающих сумерках Евгений Захарович вышел из здания библиотеки и, поёживаясь от крепкого мороза, поднялся по ступенькам к скверу, как вдруг в поле его зрения попал бюст И.В. Сталина, покрытый старой рваной фуфайкой. Бобаков застыл в возмущённом недоумении: «Чья рука посмела совершить кощунство? И это — в день рождения вождя народов, главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР, разгромившего фашистскую Германию! Ах вы сволочи-недоумки, как же вас земля носит?..»

Расстроился Евгений Захарович, нашёл палку, зацепил ею ватник, да и стянул его с плеч генералиссимуса, поволок по снегу в дальний угол сквера. Домой идти спокойно уже не мог — зашёл в ресторан, сел за столик и заказал сто граммов водки. Потом — ещё. Сидел в одиночестве, пил и приходил в себя. Зал был почти пуст, горожане редко посещали ресторан, разве что в свадебные дни, либо — наскоком, как и он. В основном сюда заглядывали командировочные. Официантка Рита обслуживала его столик как всегда — с нето-

ропливым безразличием. И он, по мере выпитого, розовел, в голове его стали появляться мысли о будущем страны:

— Всё полетит к чёрту! — бормотал он. — Рассыплется на осколки страна без тугой скрепы, без жёсткой, но справедливой руки. Руководить будут карлики, вроде нынешнего болтуна Хрущёва. Что за лицо? Никакого благородства — суций выродок!

И вспомнил Евгений Захарович, как в городе в день мартовских похорон Сталина надрывно гудели заводские и паровозные трубы — смертная тоска да мороз по коже...

— У-у-у-у — подняв подбородок к потолку зала, завыл вдруг он по-волчьи.

— Гражданин! — Рита подошла к столику. — Прошу вас, не безобразничайте, идите домой, уже поздний час, скоро будем закрываться.

— А ты как здесь оказалась? — искренно удивился Евгений Захарович. — С такой аппетитной попкой...

И не удержался, чтобы не схватить её за ягодицы...

— Ну, погоди же, — угрожающе взвизгнула официантка и выскочила из зала.

Спустя десять минут перед Бобаковым появился наряд милиции в составе старшины Супынина с напарником без лычек.

— Гражданин, вставайте, пройдёмте с нами! — услышал инспектор гороно.

— У-у-у! — протяжно завыл он. — Явились по мою душу.

Потом переменял тон:

— Прошу, гости дорогие выпить со мною по-русски. Не желаете?.. Вы — враги советской власти!

Молодой милиционер попытался его скрутить, но не смог. Евгений Захарович ловко вывернулся и прокричал:

— Не смей, салажонок, трогать меня, я — работник народного образования!

Тогда старшина Сухынин, улыбаясь, подошёл к нему со словами:

— Вот и прекрасно! С образования мы и начнём...

И врезал ему резиновой дубинкой промеж лопаток. Потом милиционеры под руки потащили к дверям мгновенно притихшего Евгения Захаровича.

## БОГ МИЛОВАЛ

В том, что Анатолий Тимофеевич свалился с крыши, словно желторотый птенец из гнезда, нет ничего удивительного — крыши кроют для того, чтобы с них слетало всё лишнее, и чем круче стропила, тем больше она отвечает своему назначению. Вот и будь осмотрительным, работая наверху, соблюдай правила безопасности.

Ему повезло — не ушибся; в последний момент, когда поскользнулся на олифе жестяной кровли, успел-таки уцепиться руками за берёзовую ветку и, загремев вниз, приземлился в палисаднике на ноги, не ударился головой или, допустим, рёбрами. Тело приняло правильное положение, и потому отделался небольшими лицевыми царапинами об шиповник да разорванными штанами. Бог с ними, с царапинами — заживут, штаны Галина починит. Огорчает другое: падение он сопроводил вырвавшимися из уст чёрными словами. И когда? На Пасху! С одной стороны, это грех невольный, а с другой — свидетельство о червоточине в глубине души. Православный человек

в критический момент воскликнул бы: «Господи, помилуй!», потому как стремится к словесной чистоте, сохраняя божьи заповеди, а Тимофеевич ничейную мать вспомнил. Ладно, ругнулся, не в первый же раз и не в последний. Плохо, что его непотребный выкрик услышала жена. Подошла, укорять принялась:

— Я тебя предупреждала: в день такой работать — грех великий. Птицы и то гнёзда не выют, а ты? Людей не стыдишься! Вот и расплата пришла, а не верил...

Не любит он, когда его отчитывают. Галина прищурилась, оправдания ждёт, почему вдруг полез красить именно на Пасху? Он молчит, но мысленно возражает: «Во-первых, не такой уж я верующий, чтобы в храме свечки ставить с утра, как ты, например. Не приучен. Во-вторых, день тёплый, солнечный, как раз такой и нужен. Какой грех? Грех — языком трепать попусту и бездельничать, у меня каждый выходной на счету. Вот покрашу, потом через неделю копка предстоит — шестнадцать соток на мне, иди-ка, жёнушка, к соседкам, не мешай!»

Те как раз встретились неподалёку, он уже в себя пришёл после падения, вновь полез олифить гребешки, сверху видно: стоят две соседки — бабки-пенсионерки: Варвара и Таисия. Варвару улица зовёт Лукьянихой, а Таисию — никак не

обозначила, её люди по отчеству зовут — Андреевной. Тут Галина подошла к ним — отхристосовались, втроём что-то вспоминают, и слышно как Лукьянниха продолжает ранее начатый разговор:

— Значит, я в храме выстояла службу, подхожу к отцу Николаю горем открыться — грешна, мол, с зятем не нахожу лада, помоги смириться, житья от него нету. Тут батюшка на меня словами набросился: «Сама хороша! — говорит. — Когда гневаешься, рот свой закрой и молчи, вот и всё смирение».

— Так и сказал? — удивляется Таисия.

— Так и сказал. Помог, называется. Я сразу поняла: слабенький он, для священника не созрел ещё, да и вида в нём нет — бородёнка реденькая, волосёнки на голове кое-как торчат, того и гляди, совсем потеряет, и это — пастырь? Ишь ты, «рот закрой»! Это почему же я должна молча слушать пьяного зятя и отпора ему не давать? Нет уж, пусть сам помалкивает, Светке моей не перечит, зараза такая...

— Есть же другие священники, — сочувствует ей Таисия, — свет клином на нём не сошёлся.

— Ну да, поэтому выбрала я отца Василия — высокий такой, голос солидный, не мямлистый, борода лопатой, усы густые, щёки заросшие. Выждала, подошла к нему с болью своей и говорю: «Как мне зятя выдержать, дюже ругаюсь с гадом,

смирения не нахожу в себе. Научи, батюшка, смирению, чтобы не грешить из-за него». Посмотрел он на меня удивлённо и говорит: «Чудная ты женщина, как же я могу смирению тебя научить, если сам грешен? Смирения во мне — кот наплакал, а порой и вовсе нет. Нешто я из другого теста сделан? Извини, не могу тебя ничему научить. Учитель один — Господь. Он учит нас добру на протяжении всей нашей земной жизни. Обращайся к Нему — молись, проси вразумить тебя, дать силы долготерпения». И добавил ещё: «Имей в виду, всё от гордыни у нас идёт, смирение — это очень трудное дело, на себе испытал. Я, — говорит, — со своей матушкой порой в перебранку пускаюсь, а потом каюсь и молюсь Господу, прощения прошу. Без покаяния и моления ничего не происходит с душой человека. Нет, нет, ничем я не лучше тебя, обращайся к Нему — Спасителю нашему».

— И что, помогло? — любопытствует уже жена, Галина.

— Есть успехи, молилась. Я сразу после разговора с отцом Василием зятю уступки стала делать, но предупредила его: «Если дочь мне пожалуется, знай, я тебя, спящего, так чурбаком по башке огрею, что навсегда перестанешь её обижать!»

— Образумился?

— А то! Видит, что молчу, терплю его выходки, присмирел, задумался. Вот так молитва моя до-

шла. Я же пост соблюдала, даже собаку приобщила поститься, перестала ей косточки давать, на крупу посадила, пусть ест, что и я. Весь пост думала о зяте: «Погоди, гад! Дай только Пасха пройдёт, я тебе такое устрою — присмиреешь окончательно!» Трудно мне с ним, бабы! И с покойным муженьком не шибко везло, пил безбожно, сами знаете...

Анатолий Тимофеевич олифит крышу и невольно слушает их разговор. Таисия Андреевна через два дома от него живёт, а Лукьяниха — на противоположном конце улицы. Обе после войны и до пенсии работали фрезеровщицами, а как не стало родного завода в горбачёвско-ельцынские годы, возненавидели они реформы. На протестные митинги зачастили, в храмы принялись хаживать, хотя в прошлом числились активными комсомолками. Портреты их висели на стенде у проходной.

«Кто они теперь? — думает он. — Так... бабки-косолапки, хотя разум ещё не утратили, мыслят здраво. Галя-то моя, последняя, кого они обучили фрезерному делу. Специальность эта теперь никому не нужна, ушла жена в торговлю, стоит за прилавком частного магазина, и то ладно — до пенсии дотянет. Дети вылетели из-под родительского крыла, в Москву перебрались на жительство, а здесь всё хуже и хуже: ни работы, ни жилья,



ни надежды на лучшие перемены. Хорошо, что есть у меня военная пенсия афганца. Сил хватает для огорода, а другим каково? — продолжает рассуждать он и опять возвращается мысленно к празднику: — К Пасхе жена долго готовилась, это Таисия Андреевна её к вере подвинула, а Варвара Лукьяниха — та больше в приметы и сны верит, стало быть, язычница. И язык у неё ещё тот... Вообще-то, религия — дело личное, можешь и не верить, но других неверием не заражай. Человек без веры, что птица-страус: бегают быстро, а взлететь — не дано».

И главное, что возмутило Анатолия Тимофеевича: зря Лукьяниха о муже так отозвалась. Неплохим тот был человеком, он его хорошо помнит, правда, пил много, но ведь бросил же водку и до конца жизни к рюмке никогда уже не прикасался. «Москвича» ему дали как ветерану Отечественной, возил Варвару, куда она хотела. Дом отделал — загляденье, а она ещё жалуется: «С муженьком не везло, пил безбожно». Не врала бы на покойного. Золотые руки были у дяди Кондрата — так он его называл тогда, — настоящий мастер, и потом трудился у домашнего верстака: строгал, пилил что-то. У него карандаш всегда за ухом торчал, когда выполнял какой-нибудь заказ. Умел делать оконные рамы с дивной резьбой на старинный лад. Бывало, кончит работу, сядет

отдыхать и за стакан берётся. Потом голова мастера долго лежит на золотых руках. Трогать не смей головушку, пока сама не приподнимется, в сознание не войдёт. Таким и запомнил его, когда был ещё школьником. У дяди Кондрата было любимое выражение: «Можно выучить двадцать иностранных языков, а оставаться дурак-дураком, ничего не понимая в жизни». После окончания Анатолием школы, дядя Кондрат выпал из его поля зрения. В армию пришлось идти, и надолго, а выйдя в запас, застал его уже седым, как трава предзимняя. Обрадовался дядя Кондрат, в дом зазвал, расспросы пошли. И тут за столом, Анатолий Тимофеевич заметил, что Кондратий Иванович не пьёт. Даже за встречу рюмки не поднял, и он пошутил тогда, подняв в одиночестве рюмку:

— За результат антинародной компании Горбачёва!

— Не его заслуга, я в это время наоборот — пил всё подряд.

— Стало быть, врачи вмешались, дядя Кондрат?

— Нет, сам бросил, в один момент, даже не ожидал от себя такого. В один миг жизнь моя круто переменялась.

— Это как же?

— Хочешь, чтоб рассказал?

— Ещё бы! Буду рад, может, мне пригодится...

Сколько времени прошло, а ясно помнится, как Кондратий Иванович повёл свой рассказ:

— Когда Горбачёв устроил нам антиалкогольный ад, работы было — без продыху, а материал — дрянь, хорошей доски не сыщешь. Заказы шли от дачников-неудачников. Один просит двери изготовить и подогнуть их к коробу, другому вору раму выломали, устроили гуляй-поле — сквозняк, приходится новую делать. Я заказчикам условия ставил: «Водку ищи для оплаты — только так!» У магазинов тогда очередюги были — до километра. Человек выпить хочет, а ему препятствие умыслили. Стоят за водкой злые толпы, с рёвом и матом штурмуют прилавки, каково? Такого отношения к себе русский человек давно не видывал. Последовал, как говорят теперь по телеку, симметричный ответ — самогонование. Я, конечно, пил и пил здорово, можно сказать, набирался до свинячьего состояния — валялся, где попало, потом отлёживался дома, неделю-другую болел. Варвара, жена моя, не знала, что со мной делать. Как-то то ли сам домой дошёл, то ли приятели довели. Не помню, память отшибло, но перед этим, словно молния в лоб долбанула — сверкнуло что-то в мозгах и всё, во тьму погрузился. Сколько пролежал, не знаю, рук поднять не могу. И темно, и холодно, и первобытная тишина. Сразу мысль сработала — кердык! Сердце заколотилось, ды-

шать нечем... Кое-как высвободил руку из-под спины, поднял её, а надо мной — доски неструганые. Вправо протянул — то же самое, влево — такая же картина, да к тому же и на досках лежу. Ужас подступил страшный, пот по спине льётся. Войну прошёл, а тут такое. Не выбраться — законопачен! Мысли побежали, как раствор из худого короба, про жену нехорошие слова складываю: «Как ты могла, Варвара, не дождавшись трёх дней, положенных покойнику, сунуть меня в домовину? Поспешила разделаться? Наверное, ни друзей, ни родственников не пригласила...» И тут слышу, часы в тишине постукивают. «Мало, — думаю, — тебя спяну долбачил, разве не знаешь, что стрелки надо останавливать, коли в доме покойник? Заточила меня в доски, а я сухую яблоню в саду не спилил, кроличьи шкурки не сдал... Интересно, во что ты меня обрядила? Так... костюм не пожалела. Правильно, нафиг он тебе нужен потёртый. Туфли — на мне, ладно, сойдут... Что под голову положила? Затылок болит...» Извернулся, ощупал подголовье — о-о-о! Пусто, голые доски. Почему подушку не подсунула или, на худой конец, клочок сена? Не может такого быть. Варя или даст, или ничего не дождёшься от неё, хоть убей, но в таком положении покойника не оставит. Здесь что-то не так. И заорал я от возмущения:

— Варя-я-я, дай подушечку-у-у!

И затих, сберегая воздух.

Тут же услышал её голос:

— Я тебя, скотина, знать не желаю, видеть не хочу, лежи, не мешай мне спать!

Понял мгновенно: под кроватью оказался. Я же, если пьяный, всегда с постели скатываюсь, до утра на полу дрыхну, а на этот раз глубоко под кровать закатился.

Вот с этих пор бросил пить — раз и навсегда. Страх победил водку, не захотел раньше времени оказаться мертвяком...

Олифит крышу Анатолий Тимофеевич, вспоминая рассказ Кондратия Ивановича, и думает, жаль, что не удалось поговорить с ним о войне. Ветеран каждый раз уклонялся от воспоминаний. И что удивительно, когда умер, понесли перед гробом на бархатных подушечках чуть ли не два десятка его боевых наград — орденов и медалей. Скромный был человек, и военком хорошо при прощании отозвался: «Ушёл, — говорит, — «последний из могикан», мы все перед ним в долгу, никогда его не забудем». Слова правильные, а действительность иная: тот памятник, что поставило ему государство, уже на следующий год завалили набок какие-то вандалы. И не только на его могиле. Газеты шум тогда подняли, осквернителей быстро нашли, оказалось, что это подрост-

ки резвились. Родителей осудили, оштрафовали, но подобные случаи стали повторяться и в других городах. Что-то серьёзное упускает школа в своей работе, да и в целом идём куда-то не туда... Прав был дядя Кондрат, когда говорил: «Можно выучить хоть двадцать языков, а оставаться дураком, ничего не поняв».

Анатолий Тимофеевич работает на крыше и бросает время от времени взгляд на улицу, там бабки-косолапки, наговорившись, ушли, стоят их внуки со смартфонами в руках. Что-то обсуждают, на кнопки нажимают... Им бы удочки в руки взять да на Сосну сходить, порыбачить, лёд-то давно сошёл, река вошла в свои берега, нет же, лезут в виртуальный мир, что-то в нём выискивают, а грача от галки не могут отличить, щегла от чижа — тем более...

— Слазь, — кричит жена, — хватит работать, гости вот-вот придут, надо же быть человеком, не позорься в такой день!

— Не шуми, спускаюсь, — летит в ответ, — я почти закончил...

Кисть положил в пустую банку, сбросил в палисадник, перегнулся к лестнице. С трёх поперечин сошёл, ногой ищет следующую опору, не дотягивается кончиком носка... Решил, пора опираться... Напрасно, поперечина ещё ниже оказалась, и рухнул бывший прапорщик в палисадник спиной на

прежний куст шиповника, слава богу, ободрал лишь затылок и локти.

Крутизна крыши ни при чём — спешка виновата. Встал он и не поймёт, как же так вышло, что дважды за день слетел вниз, словно птенец какой? Правда, на этот раз чёрное слово выпустить не успел — путь с лестницы оказался в два раза короче, а может, душа его на крыше очистилась, как железо от ржавчины? Нет, всё же права жена, предупредившая утром: «Сегодня работать — великий грех!» Потом скажет: «Бог миловал», глядя на поцарапанного мужа.

## ВИКТОРИЯ

Пётр Иванович пришёл домой и долго не мог успокоиться, всё бесцельно ходил из комнаты в комнату, словно что-то искал.

Жена, Виктория Марковна, впилась в него тёмными пронизательными глазками:

— Как отрешённый ходишь, что случилось-то?

Вопрос не сразу до него дошёл — так погрузился в свои переживания. Потом ответил:

— Ничего, всё нормально!

— Нет, сердце моё не обманешь, чем-то ты расстроен.

— Током трягнуло, где и не ожидал, досадно, но всё позади.

Она промолчала и пошла на кухню с мыслью: «Знаю я, какие токи бродят в крови у мужиков весной».

Виктория не будет Викторией, если не добьётся своего. Это пока сделала вид, что успокоилась, потом всё равно до истины доберётся. Пётр Иванович для неё что ребёнок, требующий пригляда за каждым шагом, а ведь ещё надо его одеть, обувь,



накормить и вовремя спать уложить. Её опекой он порой тяготился, но что поделаешь, — больше четверти века живут под одной крышей, не высказывая друг другу особых претензий. Вырастили трёх детей, и те уже покинули родительское гнездо — отправились в столицу искать счастье. А здесь для работы молодым такой возможности нет. Пётр Иванович на это однажды сказал так: «Москва удачно поймала свою золотую рыбку и добровольно уже не выпустит её из рук. От неё получит все блага, а нам советует приобретать удочки, для поимки рыбок-счастья на помутневших водоёмах страны». Жена возразила ему в более точных словах: «Она, то есть Москва, как вампир, высасывает кровь из городов и сёл, нагло жиреет на глазах, а ты говоришь про удочки и рыбку...»

В целом, на это они оба смотрят скептически. Со времен перестройки рыба в стране страшно подорожала, несмотря на победные репортажи о больших уловах. Если и хотелось им покушать рыбки, то шли на местный базар, где покупали золотистых карпов, отчаянно бившихся хвостами в полиэтиленовом пакете, не желая взвешиваться на весах. Что касается замороженных морепродуктов, то они были им не по карману. Да и обычная селёдка стоила недёшево.

Виктория Марковна в советское время работала бухгалтером в городском коммунальном хо-

зайстве и продолжала там трудиться, несмотря на его реформированный вид. Она ждала выхода на пенсию. Пётр Иванович долго работал заместителем начальника цеха местного кирпичного завода, а когда завод реформаторы умертвили, то все производственные здания превратились в склады иностранных товаров, а Петра Ивановича уволили. Он оказался безработным, а до пенсии — десять лет. Пошёл в электросварщики и года два варил металлические решётки на окна торговых точек. Потом его пригласили в филиал крупной торговой фирмы, где он стал старшим специалистом по эксплуатации электрохозяйства. И когда жизнь чуть просветлела, с женой по вечерам мог просиживать у телевизора, часами смотреть развлекательные передачи — главным образом бесконечные сериалы про успехи бизнесменов и бандитов, после которых начали они подумывать о приобретении в кредит автомашины. Виктория Марковна к этому времени заметно раздобрела телом, чем была огорчена и принялась старательно записывать в тетрадочку всевозможные советы по снижению веса. Пётр Иванович оставался поджарым. У него много сил уходило на подработки — брался за любую работу, связанную с электропроводкой, её обновлением и подключением. Мечта о покупке автомашины не оставляла его, хотя жена всё чаще стала посещать

«сэконд-хэнды», приобретая зачастую ненужные ей товары. Он безнадежно вздыхал, мысленно осуждая её: «Дорвалась, Вика, ты до тряпок, можно подумать, в них выглядишь моложе. Была ты когда-то хороша, только вершина привлекательности твоей позади, а вот подружка твоя, Зиночка, выглядит намного моложе и лучше, видать, годы пошли ей на пользу».

Вот из-за этой Зиночки, или Тарасихи, как её называли многие в посёлке, он и нарвался на вопрос жены: «Что случилось?», и уклонился от ответа, думая про себя: «С какой стати должен я с тобой откровенничать?»

Раньше считал, что в облике Тарасихи нет ничего особенного — обычная рыжеволосая дама, на лице которой вздёрнутый носик, пухлые щёчки с ямочками и яркие губы с морщинками скорби в уголках. Она была замужем, муж пил, сидел за хулиганство, потом вернулся, чтоб снова пить, и однажды его убили в пьяной драке. Зиночку Тарасихой назвали по её отцу — Тарасу, чтобы не путать с другими Зинами. Тот к этому времени ушёл в мир иной вслед за своей женой. Оставшись без родителей, Тарасиха — бывшая заводчанка, бедствовала в 90-е годы. Одно время занималась челночным бизнесом, ездила за товаром в заморские страны, а когда в Турции её дважды обворовали, попала в зависимость к здешним торговцам.

Местом её работы стала брезентовая палатка на городском рынке. Ну и приискивала себе непьющего мужа. Таковые к ней влетали и улетали, как мотыльки. К тому же среди них были хвастуны, не умеющие держать язык за зубами. Это её огорчало. Жила она в домике на конце Кладбищенской улицы, имела садик-огородик, позади которого виднелись гаражи и тропинка на погост.

Пётр Иванович всегда здоровался с ней при встречах, иногда они разговаривали на бытовые темы и расходились. Зиночка порой журила его:

— Петя, ты мог бы при случае зайти-проведать, посмотреть, как я живу, мы бы поговорили подольше...

Он вежливо принимал её предложение и этим ограничивался.

И вдруг в один майский день всё изменилось. После полудня, как обычно, он шёл домой с работы и неожиданно увидел, что впереди него идёт тем же путём Зиночка-Тарасиха, не оборачиваясь и не замечая его. Он какое-то время мог смотреть ей в спину. На ней была белая кофточка и джинсы, плотно обтягивающие фигуру. Обратил внимание и на то, как на тугих её ягодицах одна брючная складочка на ходу задорно подмигивала, заманчиво дразнила его воображение. Он шёл и всё смотрел и смотрел. Зинаида была тонка в талии, плечи держала гордо, чуть откинув назад.

В поступи её чувствовалась та изящная лёгкость, которая невольно привлекает к себе внимание мужчин, и от которой некоторые из них даже застывают на месте от изумления. Одним словом, Пётр Иванович мгновенно пересмотрел свой привычный взгляд на подругу жены. Где раньше были его глаза?

Он прибавил шаг, поравнялся с ней, поздоровался и напомнил:

— В гости приглашала? Случай и подвернулся...

— Пошли-пошли, я сегодня свободная, — обрадовалась она.

«Ты уже пять лет, как свободная, — подумал Пётр Иванович, — только жениться на тебе мужики почему-то не спешат».

Пришли к ней. Зинаида быстро накрыла стол, выпили-закусили, разговорились, вспоминая юные годы. И хотя учились в разных школах, общих знакомых оказалось немало.

Пётр Иванович млел, слушая Зиночку, в нём нарастало к ней чувство вожделения. По поводу этого чувства покойная тёща его однажды выразилась так: «Глубинная суть всех мужиков — кобелиная. Им надо обнюхать «чужатинку» и сделать её «своятинкой». Всё остальное — наносное, морально-культурное. Когда наносной слой слабеет, то побеждают эмоции и открывают форточку фантазиям, чаще всего беспочвенным».

Тёща психологию преподавала в педвузе, докторскую диссертацию защитить не успела, померла, может быть, от горя, не выдержав измены мужа. Её высказывание о «чужатинке» Пётр Иванович запомнил. Ему теперь страшно захотелось этой самой «чужатинки». Он обнял Зиночку и тут же потянул её к дивану...

И просчитался.

— Ты что это себе позволяешь? — гневно вскричала она. — А ну, проваливай к своей победительнице!

Это она про жену его, Викторию.

Обиделся Пётр Иванович за себя. Грубовато, конечно, вышло, но чего такого особенного он позволил себе? Обнял и потянул... Ведь ни Сашку Светлова, ни Кирпичникова Витьку, ни Загорского она не прогнала. Сами ведь хвалились ему, что Тарасиха понимает толк в любви, не раз ночевали у неё. И тоже не холостяки, почему же с ним она так? Могла бы как-то по-иному — не резко отказать, на шутку перейти. На этот счёт много есть способов у женщин.

«Ну и уйду!» — подумал он, и, поднявшись с дивана, тут же молча ушёл. Шёл и горячил себя: «Впредь, Зинка, я тебя замечать перестану, нужна ты мне, как зайцу стоп-сигнал!»

Давно так скверно не было у него на душе, и как не старался дома придать мышцам лица рассла-

бленное выражение, жена уловила в нём черты душевной опустошённости.

Не выяснив ничего, она ушла на кухню готовить ему ужин, потом позвала на блинчики со сметаной. Этому ей показалось мало и она быстро приготовила омлет, потом вместе пили чай с лимоном и вареньем до позднего вечера, затем привычно смотрели телепередачи.

Утром, накормив мужа, она как бы невзначай заметила ему:

— Ночью тебе снилось что-то нехорошее, ты с кем-то спорил, что-то доказывал. Я даже проснулась в тревоге за тебя...

— Чушь, наверное, снилась, или погода меняется...

— Нет, Петюша, не юли, нехорошо так поступать с женой. Я тебе сны свои всегда рассказываю.

— Вцепилась ты, ей-богу, как репей. Я же русским языком говорю: ничего не помню, хотя ночью что-то снилось.

И привычно отправился на работу. Жена ушла на час позже. И надо же! Когда подходила к своему ЖРЭУ, встретила с подругой, Зиночкой. Редчайший случай везения. В разговоре та и выложила ей всё без утайки о вчерашнем госте своём, Петре Ивановиче, и хмельном намерении его лишить её женской чести, за что и был выставлен за дверь. Она никак не ожидала от Виктории Мар-

ковны такой бурной отрицательной реакции на её откровение:

— Ты, Зинка, подло поступила! Он тебе этого не простит...

— Я же только рот открыла, а он встал и ушёл... В чём подлость-то? Не пойму тебя.

— Представь себе состояние моего Петра Ивановича: он в гостях у тебя, вы уединились, можно сказать, он разогрелся чувствами к тебе, и в этот сладкий, чудесный момент ты его оставляешь с носом! Ну, не подло ли? Ведь не юноша же он, у которого всё впереди. Из-за осечки он теперь так переживает, что может быть ни на что не годный как мужчина. Вот о чём речь! Ох, и расстроила ты его... И меня заодно...

— Переживёт! Я ж хотела, как лучше, ты же моя подруга...

— Ты опять про своё, а я о нём беспокоюсь. Хотя и меня ты сильно обидела.

— Вика! Ты в своём уме?

— В своём, в своём... Мой муж, выходит, хуже всех твоих обожателей. И чем же он хуже? Я им довольная — он не груб, выглядит прилично, слежу за ним, чтоб и сыт был и одет-обут нормально, а ты его отшила и этим унизила. Не дай бог кому проболтаешься, засмеют его и Светлов, и Кирпичников с Загорским.

— Перестань, не враг же я себе и тебе?



— Да какой ты мне враг — с детских лет вместе. Речь о Петре Ивановиче, он обиды такой не забудет!

— И что мне теперь делать? — изумилась Зинаида Тарасовна.

— Ума не приложу, — честно призналась Виктория Марковна, — давай вместе думать.

И продолжила:

— Ему всегда меня хватало, никогда не смотрел на других женщин. Никогда! Что же увидел Петенька в тебе такого, чего нет во мне? Не знаю. С другой стороны и тебя жалко, не удалась твоя семейная жизнь. Если честно, за тебя переживаю, как за себя. Думаю, зря ты вспыхнула, когда он полез к тебе. От меня ничего не убыло бы — никуда он не денется, всё равно будет при мне, это я точно знаю. После стольких лет совместной жизни меняют жён только мужья-придурки, а Пётр Иванович умный человек, с тонкой натурой, и просто так за чужой юбкой не погонится. Что же он в тебе увидел? Не могу понять...

— Откуда я знаю, что увидел? Спроси у него. Мне он на один вечер не нужен, а навсегда ты его не отдашь. Вот и разбирайся с ним сама. Если хочешь знать, я давно бы его от тебя увела, не будь ты моей подругой. Теперь смотрю на ваше мечтательное счастье и не завидую. Грустно мне, хоть и одна живу, и бьюсь, как рыба об лёд.

— Чего плохого в мещанском счастье-то? — Виктория Марковна искренне удивилась.

— Не о таком счастье мечтала, да и ты, наверное, тоже.

И опять задумались. Стояли, и каждая размышляла о чем-то своём. Потом спохватились — пора занимать рабочие места. Разошлись и ни к чему не пришли.

## ЗОЛОТЫЕ ОПЁНКИ

Устали глаза от бетонных углов городских улиц с их ежедневной суетой. Пора делать вылазку на природу. Созвонился с приятелями, и вот уже мы едем за опёнками в Шаблыкинский лес.

Летят навстречу лесополосы с вечно больными облысевшими тополями. За машиной брезжит заря, сыплет перед нами длинные низкие лучи по макушкам деревьев. Быстро остались позади придорожные населённые пункты.

Загустел туман в низине, лезет к нему со стороны Хотынца слизь косматых облаков.

Ведёт нас грунтовка с глубокими тракторными следами среди пыльного бурьяна в лесную чащобу. Серая мука дорожной пыли вырывается из-под колёс, окутывает сзади лапы ближайших сосен и елей. Ямины и рытвины с коричневой дождевой водой прерывают наш путь.

Разбираем из багажника рюкзаки и корзины, осматриваемся под сводами старых елей. Изумрудные макушки их увешаны гирляндами бурых шишек. От верхового ветерка они слегка покачи-

ваются, царапают друг друга чешуйками, трутся об иголки, приятно шуршат, словно переговариваются о чём-то на своём еловом языке. Воздух родниковой свежести ручеится между стволами, изредка играя какими-то светлыми пушинками на солнце. Туман постепенно рассеивается.

Уходим под хвойный свод, по своему усмотрению — кто куда.

Травы почти нет, лишь попадаются на пути крапива и папоротник. Они ещё зелёные, но подёрнуты крапчатой рыжестью, похожей на ржавчину. Вокруг них мягкая серо-жёлтая хвойная подстилка да плесневые шишки, чахлые кустики боярышника, бузины, шиповника. Виднеются островками заросли кустов акации и малины. Здесь делать нечего, спешу в орешник.

Орешник совсем облысел — грустит голыми ветками, не поймёт, что с ним произошло. Оборвётся иногда забытый ветром лист из-за собственной тяжести, и неспешно кружит, словно высматривает, где бы приземлиться, потом идёт дугою вниз. Серая сетка ветвей залавливает густую синеву неба, под ногами лежит изумительный рыже-багрово-золотой ковёр сухой лещиновой листвы.

Поодиночке, по двое, а то и пучком начали попадаться опёнки — чистые, светло-коричневые, их называют «подорешниковые». Они бывают долго, почти до заморозков, но их мало.

Неподалёку шуршит кто-то и тревожит ведро. Ведро — плохая тара для грибов, как и полиэтиленовые пакеты, да и в рюкзаке им не место — греются там, рукой можно почувствовать. Если греются грибы, значит, идёт химическая реакция, и они теряют свои питательные качества, их держать в таком состоянии можно не больше часа-полтора. Плетёная из лозы корзина — самая подходящая вещь.

Вышел я на поляну, а там местный грибник-парень домой собирается, это он побрякивал тарой.

— Привет, какие успехи?

— Смотрите сами...

Мать честная! Когда же успел? Две плетёнки и ведро доверху заполнены золотистыми опёнками. Мне на свои опята даже смотреть не хочется — ничтожные по сравнению с этими. Здоровенькие у него опёнки, можно сказать, мордастенькие, с коричневой присыпкой на шляпках, ножки крепкие с «ваткой» внутри, сырыми в рот просятся. Простой местный парень показал, как пристыдил, и не тени хвастовства. Точные ориентиры дал:

— Вон туда идите, метров через семьсот будет другой, более густой орешник. Там на всех хватит и ещё останется...

Я окликнул приятеля, Анатолия Загороднего, и мы отправились с ним по указанному направлению. Вышли на край поляны. Стоят на ней огромные корявые берёзы, спуская сверху вниз нити тоненьких ветвей с бронзовыми монетками листы. Сыплются щедро, приветливо, падая нам навстречу, быстро подсохнув на солнце в осенней тишине. Слева от поляны тянется вырубка с кустами акации и какой-то штыковой порослью. Потом мы попадаем под сень вековых елей с зелёным мохом у подножий стволов. Узловатые мощные корневища смотрятся как лапы динозавров. Крапива, по-летнему сочно-густая, лезет под ноги. Натыкаемся на длинные мелкие ровчики, идущие параллельно друг другу. Это работа лесной техники. На них усажены в ряды колыбельные ёлочки. Такие ёлочки первые пять лет развиваются слабо, почти не прибавляют в росте, нередко гибнут, а уцелевшие потом ежегодно на глазах вымахивают.

— Есть! — радостно сообщает Анатолий Яковлевич.

Сам уже вижу: попали на нужное место.

Режем и режем опёнки-опята неподалёку друг от друга. Иногда осматриваемся, что впереди, а там тоже — головки золотистых опят. Тишина стоит вокруг нас редкая, выжидающая, даже мистическая.

Странный покой вливается в душу, — ты это или не ты? Что было до этого момента, ровным счётом ничего не значит, поскольку его не было вовсе. Благодать пришла незаслуженная, но ниспосланная навеки. Милостивая, чудесная погода. Было время, отправлялись в мою корзину всякие опять по окрасу — светло-коричневые, тёмно-серые с желтинкой и зеленоватостью, и ещё бог весть какие. Были тонконогие и толстоногие, низкие и рослые, с плоскими шляпками и нисходящими — колпачком, растущие от одной грибницы, колониями и взрброс, кругами, дугами, цепочкой. Собирал их на пнях, на стволах, на лугах, но таких золотистых, какие вижу сейчас и в таком количестве, — впервые. Режу и режу, и все хороши!

Не замечаю ни птиц, ни лягушек и ящериц, ни мурашей лесных. Двухведёрная корзина моя полна, рюкзак — битком, пакет — тоже. Всё, пора к машине. Напарник мой затих, подхожу, а он и наполовину свою тару не заполнил.

— Толя, помочь?

— Давай, если желание есть!

Минуту-другую подрезываю опёнки в его корзину и вдруг слышу:

— Ты какие кладёшь? Я такие не беру!

— Режу, как и себе, чудесные...

— Мне такие не нужны! Я подрезаю определённого размера — не больше, не меньше.

И показывает, какие именно.

— Ах, леший тебя побери! Ты, оказывается, эстет с привередливым вкусом. Тогда трудись один, а я пошёл. Извращенец ты после этого, — говорю ему шутя и ухожу в сторону оставленного автомобиля.

Ни через полчаса, ни через час Загородного нет. Чуть аккумулятор не сел, пока я сигналами оглашал лес.

Понятно, сбился с направления человек, плутает где-то.

Наконец явился. В глазах вина — как у волшебника, попавшего впросак. Заблудился и дал огромный крюк. Бывает. Шаблыкинский лес — серьёзный лес. Сам убеждался в этом не раз.

Вылазка на природу удалась — привезли золотые опята.



## ДВЕ ВСТРЕЧИ

Когда я вижу на портрете молодое, полное сил и задора лицо Юрия Алексеевича Гагарина, то невольно возникает перед глазами и лицо престарелого полководца Гражданской войны — Семёна Михайловича Будённого. Так вышло, что первого в мире космонавта и первого легендарного командарма красных всадников мне довелось видеть живыми, правда, в разное время, и порознь. Если кратко, то вот как это произошло.

В ряды Советской Армии я был призван в 1960 году, службу проходил в небольшом украинском городке Шепетовка Хмельницкой области, а это — крупный железнодорожный узел, через который днём и ночью шли гражданские и воинские эшелоны. На окраине Шепетовки стоял наш отдельный зенитно-ракетный артиллерийский полк, сокращённо ОЗЕНРАП. Он круглосуточно контролировал небо, обеспечивал воздушную безопасность этого важного стратегического узла.

С ним и была связана моя солдатская служба сроком в три года (плюс четыре дополнительных месяца, случившихся из-за Карибского кризиса). Шепетовка — это ещё и знаковое местечко, связанное с романом Николая Островского «Как закалялась сталь» и его литературными героями: Павкой Корчагиным, Серёжей Брузжаком, Тоней Тумановой, Жухраем...

Здесь в годы Гражданской войны националисты Симона Петлюры под жёлто-голубые знамёна зазывали местное население для борьбы с «кацапами», заодно разбирались с евреями, устраивая погромы. Местные леса кишели разношёрстными отрядами местных батьков и атаманов, что отражено и в книгах Аркадия Гайдара: то красноармейцы гоняются за бандитами, то бандитский отряд — за красноармейцами. Красные, белые, зелёные, жёлтые — кого только не было. Панская Польша, немцы, Махно, Антанта — всё круто заварено. После 1920 года граница с Польшей проходила в тридцати километрах западнее Шепетовки, пока наши войска в 1939 году не ликвидировали её путём присоединения Западной Украины и Буковины к СССР. Во время Отечественной войны и после неё местное население познало и беспощадность фашистов и лютую злобу вырождков Степана Бандеры — эти и те стоили друг друга. После войны, уже в хрущёвское время, из тюрем были

отпущены на свободу многие националисты, отсидевшие сроки за свои преступления. Большая часть их вернулась в родные места, где со своими родственниками они продолжали ненавидеть советскую власть, хотя открыто своих чувств не выражали, но неприязнь к «москалям», особенно в отдалённых сёлах, чувствовалась и в годы моей службы.

Большинство же местного населения стояло на стороне советской власти или было нейтральным.

Кстати, наш полк составляли представители разных национальностей — граждан СССР, в числе их одна треть — украинцы. Никаких конфликтов на национальной почве никогда не было, украинцы — хорошие, надёжные ребята, хотя и спорщики очень упорные в дружеских бытовых разговорах — уж если что отстаивают, бесполезно убеждать, лучше переходи на шутки.

Мы служили, как и положено, правда, парням из сельской местности, независимо от национальности приходилось нелегко из-за слабой физической подготовки, особенно в начальный период.

Казармы, где мы располагались, были построены ещё в 20-е годы буденовцами, и вот в начале 1961 года в Шепетовку приезжает сам — легендарный маршал Будённый. Он тогда был кандидатом в депутаты Верховного Совета народных депута-

тов от местного округа. У него в городе состоялись встречи с избирателями, потом и с военнослужащими. Собрали нас в клубе части. Командир полка, полковник Зиборов, после вступительной речи предоставил слово Семёну Михайловичу. Маршал предстал перед нами в обычном гражданском костюме, не увешенном орденами и медалями.

Обычный человек. Рост — средний, туловищем широк, шеи почти не видно. Большая одутловатая голова с седыми усами сидела прямо на плечах. Старый рубака не выглядел орлом, но всё ещё зорко смотрел в пространство и по глубинной своей сути им оставался. Ведь немало сделал для того, чтобы в безопасной обстановке росли в стране и орлята, и соколята. В своей речи Семён Михайлович говорил нам о необходимости защищать родное небо, мировой обстановке и текущих внутренних делах. И было понятно. Совсем недавно, в мае 1960 года, в небе над Свердловском был сбит ракетой С-75 — такой же, как и у нас, — американский разведывательный самолёт, пилотируемый лётчиком Пауэрсом. И на экранах наших полковых локаторов часто появлялись светящиеся точки — самолёты НАТО, летающие вдоль турецкой границы. На командном пункте отслеживались их маршруты, данные фиксировались и передавались расчётам дежурного ракетного дивизиона. Я и мои земляки из Орла и Ливен входили

в состав радиовзвода батареи управления полка и привлекались к дежурству на этом пункте вместе с офицерами. Дни и ночи шла ежедневная солдатская служба. И Будённый разговаривал с нами просто, как с товарищами по оружию, без чиновного превосходства. Чувствовала в нём широта взглядов государственного человека. В конце встречи спросил:

— Хороши ли казармы, которые мы построили?

— Спасибо, Семен Михайлович, надёжное жильё, ещё долго послужит! — загомонили с разных сторон...

Затем собрание проголосовало за поддержку его выдвижения на пост народного депутата Верховного Совета, а в конце объявили: «Всем желающим прямо сейчас можно сфотографироваться с Семёном Михайловичем». Тут и полезла на сцену солдатская масса, толкая друг друга, желая стать поближе к Будённому. Я подумал, а надо ли мне «запечатлеваться»? Тем более, денег не было для оплаты фотокарточки. Теперь об этом тужу — у моих однополчан такое фото сохранилось, детям и внукам есть что показывать.

Служба продолжалась. Спустя некоторое время, ранним утром 12 апреля 1961 года, находясь со своим взводом в очередном наряде, я стоял с автоматом на караульной вышке, ожидая прихода разводящего. Весеннее небо сияло бездонной си-

невой — не было ни единого облачка, вокруг лежала первозданная тишина, даже местные собаки ещё не проснулись. Обычно под утро на посту борешься с сонливостью, а тут — чувствую бодрость, прилив сил, весенние мысли наплывают... Отстоял, сменился, пошёл в караульное помещение, и вдруг узнаю поразительную новость: на орбите впервые в мире находится космический корабль, пилотируемый лётчиком-космонавтом, старшим лейтенантом Юрием Алексеевичем Гагариным. Первый человек в космосе — советский человек! Шумного ликования не передать: отдыхающая смена проснулась, желая знать подробности. У нас были такие счастливые лица, словно Гагарин каждому доводится кровным родственником. Ощущение радости неизгладимое. С тех пор Будённый для меня стал предвестником незабываемого полёта Гагарина. Позже увижу и его.

Летом 1963 года наш ракетный полк из Шепетовки передислоцировался в немецкий город Гера, влился в Группу советских войск в Германии. Пошли напряжённые дни и ночи с частыми подъёмами по тревоге в связи с острейшим советско-американским противоборством из-за Кубы — кризисом отношений глобального масштаба.

Несмотря на сложность обстановки в один из дней узнаём: в Геру с дружеским визитом при-

езжает Юрий Гагарин. Стали срочно готовиться к встрече: выгладили мундиры, почистили пуговицы, подшили свежие подворотнички, надраили кремом яловые сапоги. Встреча с космонавтом должна была произойти на общегородском митинге, куда планировалось отправить примерно сто военнослужащих. В это число попал и я.

18 октября 1963 года, строем, с песней идём к месту митинга. Городские здания увешены немецкими и советскими флагами, приветственными транспарантами, гирляндами цветов... Жители Геры вышли на улицы празднично одетыми, с плакатами, флажками и фонариками в руках. Идём и видим: то там, то тут горожане выносят свои традиционные музыкальные инструменты — стоят по пять-десять человек и наигрывают весёлые национальные мелодии. Проходим по живому коридору из школьников, некоторые из них одеты в комбинезоны «под космонавта». Кричат нам: «Френдшавт! Френдшавт! (Дружба! Дружба!)». Приветствуют искренно, от всей души. Здесь, на чужой земле, приятно чувствовать себя земляками первого в мире космонавта.

В центре города наскоро сбит широкий помост с огромным портретом улыбающегося Гагарина. Улыбка его — словно улыбка всего человечества, невольно улыбаешься в ответ, глядя на этот портрет. На помосте — трибуна, видны микрофоны,

приветственные лозунги на двух языках, знамёна. Рядом похаживают корреспонденты, фотографы, местная власть. Невдалеке стоят автомашины, в кузовах клетки с голубями. В ожидании прибытия поезда с космонавтом играют поочерёдно оркестры: немецкий и советский. С помощью полицейских и канатов ограждения сдерживается многотысячная толпа горожан — всем хочется стать ближе к трибуне. Наш строй еле пробился к месту, отведённому для нас, — перед трибуной. Вскоре со стороны станции оглушительно ударили пушки, возвестившие о прибытии поезда; стал нарастать приветственный гул, по мере того, как автомашина с космонавтом проходила мимо ликующих жителей Геры и их гостей. Вот уже полетели цветы, понеслись горячие слова приветствия...

Смотрю только на помост. И вот взошёл на трибуну Юрий Алексеевич. Он совсем близко от нас — рукой подать, на нём форма подполковника ВВС. Гагарин небольшого роста, плотный, с мягкими чертами лица, с неповторимой улыбкой на загорелом лице — только что побывал в Мексике. Вижу как немецкие пионеры окружают его, галстук повязывают, дарят какие-то подарки, корреспонденты с фотографами суетятся... Он автографы раздаёт, что-то говорит, слушает кого-то, отовсюду протягивают ему цветы, цветы, цветы...



На несколько минут он пропадает из моего поля зрения — закрыт цветами и людьми, потом внезапно направляется в нашу сторону, увидев наконец-то наши, пожирающие его глаза. Обратился просто: «Привет, земляки!» Поднял руку и помахал ею, совсем как тогда, перед стартом, что не раз показывали в документальном фильме о первом полёте. Мы, как положено, кричим: «Ура-а-а!» И вдогонку нашему «ура» понеслось вразнобой уже не уставное: «Юра! Юра! Юра!» — чины и звания были забыты... Наше обращение подхватили девушки-немки, одетые в светло-синие платья и белые передники. Из клеток взметнулась, рассыпаясь в небе, туча голубей.

— Больше бы таких туч, везде и всюду, — кто-то произносит, провожая взглядом птиц.

Представители городской власти поочерёдно у микрофона приветствуют знаменитого гостя. Я слушаю резкую для русского слуха немецкую речь. Не понимаю её, но чувствую содержание. Жду выступления Юрия Алексеевича. Наконец, место у микрофона занял он. Внешне он старше нас, солдат-дембелей, лет на пять, не больше. Меня поразил его голос — совершенно юношеский, чистый и звонкий, что мало вязалось с погонами подполковника. К примеру, офицеры нашей части в таком звании имели голоса командно-басистые, и в отцы нам годились, были среди

них и поседевшие — участники Отечественной войны.

Гагарин начал говорить. В его речи не было ничего особенного. По радио я не раз слышал его слова о дружбе, мире, труде, значении космоса для всего человечества, но теперь они воспринимались острее — страны НАТО и страны Варшавского договора хотя и отошли от края бездны, но смертельное дыхание её ещё ощущалось, и потому мне понравился спокойный, уверенный голос Гагарина. Слова он произносил неторопливо, даже с некоторой ленцой, но и с улыбкой, и она давала надежду, заряжала бодростью. Казалось, улыбается само человечество. Что слова, когда обо всём говорила его особая улыбка. В ней вся суть русской всемирной отзывчивой души, о которой писал Достоевский.

### *Постскриптум*

22 ноября 1963 года в штате Техас был убит президент США Джон Кеннеди. Об этом мы узнали на пересылочном пункте во Франкфурте-на-Майне, уже после получения приказа о демобилизации. Было напряжённое ожидание: что, если вдруг отменят приказ и нас вернут в Геру? Не хотелось назад, но знали: если надо, мы тотчас бы вернулись в свой полк. Слава богу, миновало, отправились на Родину.

## ЗИМНЯЯ ПРОГУЛКА

Снег идёт, и я иду. Он — по вертикали, я — по горизонтали, и хотя движемся разнонаправленно, мы повстречались. Он нежно осыпает меня пухом своего небесного серебра. Я не стряхиваю его, а иду и иду, радостно работая лыжными палками. Снег мой старый приятель, мы знаем друг друга давно и всегда рады каждой новой встрече. В тишине он ласково обнюхивает меня и вот уже густо-густо осыпает аллею, идущую параллельно железнодорожному пути и дачному массиву. Сыплется и ложится, чтобы однажды стать весенней водой, напоив землю и растительность, или же сбегать ручьями в ближайшую речку, а потом и к морю. И всё это ради нового воспарения к небесам, чтобы в который раз серебром слететь с облаков на землю. Снег совершает круговороты и потому бессмертный, да и люди тоже. Наверное, поскольку состоим в основном из воды. Мы — родственники. Без снегопадов не было бы на Земле климата, пригодного для проживания. Снег — наш оберег.

Я скольжу по снежному одеялу, продвигаясь дальше вперёд, и знаю, что позади меня тянется узкий след лыжни и теряется в сизом мареве, но я смотрю лишь на мелькающие передо мной кончики лыж, чтобы вовремя заметить на пути опасную коряжину. Слева и справа от меня тянутся стволы запорошённых деревьев и кустарников, которые образуют аллею. В конце её будет большой глубокий овраг со склонами различной крутизны. Туда и направляюсь, чтобы стремительно скатиться вниз по знакомой горке, почувствовать замирание души и свист ветра в ушах, как от полёта. Потом — ещё и ещё, и поверну назад, накатавшись. Я же с детства люблю лыжи, в юности занимался ими серьёзно, участвовал в соревнованиях на различных дистанциях, а будучи ещё школьником, бегал даже гонку на тридцать километров.

Это было давно, но всё же при первой возможности становлюсь на лыжи. Люблю прогулки на свежем воздухе. Кто бегал на лыжах, знает, сколько труда вкладывается в тренировки, не забудет он и осенние кроссы по пересечённой местности, и тесную связь этого вида спорта с лёгкой атлетикой. Спорт закаляет характер, с ним легче берутся барьеры на жизненном пути. И вообще, активные прогулки полезны для здоровья, особенно на лыжах, когда от снегопада воздух становится чистым

и дышать легко — снег бодрит, вызывает чувство полноты бытия, близкого к счастью.

Я иду, и снег идёт, нежно шуршит, словно высказывает благодарность за то, что первым прокладываю лыжню к оврагу. Прошлые следы он уже скрыл.

Люблю снег, но не в силах объяснить моей любви к нему, она у меня в подсознании, на генном уровне. Ведь снег издревле связан с русской жизнью, сформировал нас как народ. Мы же народ северный, поэтому стойкий, открытый и жизнелюбивый. Истоки общинного уклада русского человека — в суровой погоде, и только потом — в христианстве.

Снег — явление удивительное и во многом таинственное. Основу его составляет крохотная красавица-снежинка. За одну зиму их на Землю выпадает примерно септиллион (единица с 24 нулями). Невообразимое число! Про массу и говорить нечего — она так же пугающе громадна, в ней — миллиарды тонн снега на определённую площадь, с учётом разных регионов земли. Легче представить сантиметровой покров снега на одном гектаре земли, что даёт при таянии от 25 до 35 кубов воды.

Что представляет собой снежинка? Это микроскопическая капелька замёрзшей воды, она кристаллизуется вокруг пылинки. Доля воды в снежинке

около 5%, а на 95% состоит из воздуха, поэтому плавно падает на землю. Вот они — кружатся в тишине, падают на аллею, по которой иду к оврагу.

Иду и вспоминаю всё, что читал о снеге. Например, 100 лет назад простая снежинка поразила воображение американского фермера Вильсона Бентли. Он 45 лет с любопытством рассматривал её в микроскоп, запечатлел фотоаппаратом на 5 тысячах снимках! Бывают же чудачки. Так ещё они с физиком Перкинсом тщательно изучили каждую снежинку, первыми заявили, что двух одинаковых не бывает, и пробудили интерес ученых к систематическому изучению снега, можно сказать, положили начало глянциометеорологии, которая постепенно стала наукой академической. Сегодня учёные в лабораториях создают всё новые и новые установки, на которых генерируются снежинки. Дальше всех пошли предприимчивые японцы, научившись создавать тонны одинаковых искусственных снежинок «на заказ». Плати и получай снежную установку, чтобы подготовить трассу для катания при отсутствии настоящего снега, хотя это дело энергозатратное. Но бизнес есть бизнес, его интересует прибыль. Пытливым учёным искусственный снег не годится для познания всех его свойств. Им нужны девственные снежинки, сформированные в естественных условиях, но поиск их сопряжён с техническими труд-

ностями. Проблема в том, что в хаотичном полёте снежинки, соприкасаясь друг с другом, ломаются, испытывают ветровые нагрузки, теряют нужную информацию о себе, прежде чем опустятся на землю. В первозданном виде долетает до земли лишь незначительное количество снежинок. По ним, уверены учёные, можно изучать слои атмосферы, которые они пролетали.

Справедливости ради надо сказать, что ни Бентли, ни его друг Перкинс не были первооткрывателями теории неповторимости снежинок. Ещё за 300 лет до них немецкий астроном Кеплер задался вопросом «Почему снег шестиугольный?» И сам дал ответ: «Вещь эта мне ещё не открыта». Современные учёные согласны с таким признанием, заявляют, что число вариантов форм снежинок превышает число атомов в наблюдаемой человеком части Вселенной. Они продолжают открывать всё новые свойства небесной микроскопической красавицы: обнаружили, например, что каждая снежинка является плоской линзой, преобразующей свет и меняющейся под действием другого света, приходящего от другой снежинки. Какой в этом толк? Не знаю, поживём-увидим. В целом, если говорить о снеговом покрове, он сильно отражает солнечную радиацию — 90% лучистой энергии уходит в пространство, считай, в никуда. Такой высокой отражательной способностью не

обладает ни одно естественное тело — так распорядилась сама природа, но зато снег хорошо предохраняет почву от чрезмерного выхолаживания и оберегает озимые посевы от вымерзания. В земледелии роль снега велика, его стараются задерживать на полях разными способами: собирают в валики, уплотняют катками, ставят щиты, оставляют в поле высокую стерню. Снеговая вода не совсем дистиллированная, она содержит химические примеси, например: хлориды, сульфаты гидрокарбонатов и соединения азота. То есть, снег даёт почве микроэлементы — необходимые стимуляторы для роста организмов. Есть народное выражения «Снег на овёс — тот же навоз», «Сугробы снега на полях — урожай зерна в закромах».

О снеге нельзя говорить равнодушно. Это чудо природы таит многие загадки. Как, например, падающий снег преобразует поступающую от окружающего мира информацию? Пока не знаем. Если окинуть взором огромное заснеженное земное пространство, то это будет гигантский резервуар, в нём собраны знания, они законсервированы. Вот почему так дорог прошлогодний снег, мы ещё слабо черпаем информацию из его кладовых. А пока ветры и морозы его уплотняют. В Антарктиде выпавший снег толщиной в 3-4 метра за несколько дней становится таким плотным, что с трудом поддаётся ковшу мощного бульдозе-



ра, а на Крайнем Севере бывает настолько твёрдым, что топор при ударе по нему звенит, словно по железу. Он разный: в степях — один, в тундре — другой, в горах — третий, то во влажном виде, то в сухом. Любой лыжник знает, что снег в лесу отличается от снега на равнине, а при морозе он и зернистый, и игольчатый, если лыжня пролегает среди хвойных деревьев.

Считается что снег белый, а вот эскимосы насчитывают до 24 оттенков цвета снега, саамы — до 41. В калифорнийских горах Сьерра-Невада он иногда бывает арбузного цвета от присутствия в нём мельчайших частиц водорослей, а в Швейцарии на Рождество в 1969 году выпал снег чёрного цвета, наверное, кристаллизация его шла на пылинках пепла и сажи.

Русский человек всегда с уважением относится к снегу, для него он, как Божие послание — напоминание о необходимости жить в чистоте. Первый снег похож на первую любовь, он уходит, а сказки остаются, даже если при этом кто-нибудь справедливо скажет: «Люби кататься, но люби и саночки возить».

Иду и думаю: всё осталось в прошлом, но всё лучшее не забывает страна. Ах вы, саночки, ой да, горочки, вновь катался бы дотемна! Однако, время уже откаталось на мне, оставив на челе седину и морщины. Всё реже становлюсь на лыжи, хотя

годы здесь не причём — всё чаще зимы становятся малоснежными. Что-то неладное происходит в природе уже в планетарном масштабе. Это вызывает всеобщую тревогу: рушатся привычные жизненные уклады из-за стремительного развития человечеством технического прогресса, а сам человек при этом в нравственном отношении опускается всё ниже, сам себе становится бедой. Он, являясь частью природы, унижает и себя, и природу — отказывается быть чистым, как первый выпавший снег. Он хочет сам быть Богом, идеалом самому себе и конечной целью. И трудно ему возразить, поскольку невозможно узнать конечного результата, а промежуточные — и обнадёживающие, и печальные. На лыжной прогулке не следует размышлять о них. Меня радует возможность смотреть, как снег кружится в тиши, как постепенно опустошаются облачные закрома. Уже вижу клочок синего неба и робкие солнечные зайчики на юго-западе. Аллея кончается, меня встречает полевой морозный ветерок.

Отбрасываю все размышления, мгновенно принимаю стойку для спуска — лыжи нависают над крутым оврагом; его безмолвное белое чрево манит меня, и я с нарастающим свистом ветра в ушах устремляюсь в эту таинственную бездну, чтобы стремительно взлететь на солнечную сторону.

---

## СОДЕРЖАНИЕ

Светлый посад или таёжные сумерки.....	3
Солнце над Неручью.....	44
Димкина школа.....	95
По коленкам.....	112
Внезапный удар.....	126
Бог миловал.....	148
Виктория.....	160
Золотые опёнки.....	171
Две встречи.....	177
Зимняя прогулка.....	187

Литературно-художественное издание

**Турбин Михаил Леонидович**

**ОКРУГА**

**Рассказы**

Редактор А.В. Фролов  
Технический редактор Т.А. Агапий

Бюджетное учреждение культуры  
«Орловский Дом литераторов»  
302028, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, 1

Подписано в печать 09.04.2021 г. Формат 70x100/32  
Печать офсетная. Бумага офсетная.  
Усл.п.л. 7,90. Тираж 350 экз. Заказ №

Отпечатано с готового оригинал-макета  
в АО «Типография «Труд»  
302028, г. Орёл, ул. Ленина, 1